



Елена КРЮКОВА

г. Нижний Новгород

<...>

Мне дали пожизненный срок. А что удивляться? За множественные убийства стариков в доме милосердия и за убийство художника Святослава (фамилию не скажу, забыл) — раньше за такое вышку давали только так, теперь у нас смертной казни ведь нет, значит, Марк, опять на твоей улице праздник. Про пожизненное мне потом объяснили. После суда. В камере. Мне в уши этот мой приговор сокамерники проорали. А им менты нашептали. Короче, не так часто людям пожизненное влепят; и тут я был удивительный, непревзойденный. Гений, блин, одним словом! Картина маслом! Северный ветер, бать, железный ветер. Душу выдует запросто.

Северный ветер, и я грудью против него иду. Мы идем. Нас немного. Нас ведет конвой. Идем под стволами автоматов. Руки в наручниках. От автозака до ворот — сколько метров? Не считал. Но это воля. И я иду по воле, по вольному снегу. Ветер нюхаю, свободу. Маленькую, как чайка. Над воротами жестяные буквы к железной сетке прибиты: «ПОЛЯРНАЯ ЧАЙКА». Вот оно, приехали. Страшно они кричат, чайки, тоскливо! Душу вынимают. Потрошат тебя, кишки вываливают. А потом ты сам себе живот зашиваешь и над собой смеешься. А птица улетает. Ты ей не нужен.

Суп разносят, надзиратель его в камеру на специальном стальном лотке толкает. И ты должен успеть взять. А то лоток выдернут резко и горячий суп прольется — на пол, тебе на руки и колени. Ты обожжешься, это хорошо: значит, ты живой. Быть живым на пожизненном почетно. Ты все время твердишь себе: я жив, я жив. Как воробей, чирикаешь: чуть жив! чуть жив! Ночь осенью наступает быстро. А зимой не кончается вообще. Полярная ночь. В зарешеченном окне — тьма. Снаружи горят фонари. Хочется гулять. Под фонарями сто-

Окончание. Начало в журнале «Север» № 3-4, 2019 г.

ять. По снегу пройтись, валенками на снегу поскрипеть. Не выпустят. И не проси. Если слишком горячо будешь просить – тебе накостылят. Умело будут бить. Чтобы не видно было синяков. В печень, под дых. На пол швырнут. Голова кругом. Пол ледяной. Ветер гуляет по камере. Одиночка. Не с кем поругаться. Подраться. И поплакаться некому. Слезы, бать? Да не было уже никаких слез. Это я для красного словца приплел. Северный ветер, и прямо от нашей заполярной тюрьмы – дорога на океан. Северный Ледовитый, а какой же еще. Наша зона, чудо из чудес. Дорога голубых снегов, песцов. Звезды сыплют соль на рваные раны. Их хитрые лучи скрещиваются у тебя в глазах. Тебя выводят на прогулку в черной фуфайке. Валенки на ногах у тебя. Здесь полярная ночь, и ночью минус сорок, обычная погодка. Колючки проволоки, ты ими хочешь оцарапать себе щеки, губы. Но ты не сорвешь колючку, как железную ягоду. Слишком высоко. Гуляй под дулом. Умел убивать, умей и отвечать. Бать, я хотел превратиться в песка и сигануть через забор, и мелко, мелко побежать по снегу в тундру. Дорога на океан, она так тянула! А ночью еще и сияние играло. Вдали океан, я видел его, а над головой, близко, сиянье. Ветер, знаешь какой ветер? Все время ветер. От него можно спятить. Его любишь только день, два. На третий ты его ненавидишь. На четвертый ты возвращаешься в камеру с обмороженным лицом. На пятый кричишь надзирателю: я не пойду на прогулку! принесите мне масла! или свиного жира! я себе морду намажу! болит сильно! и кожа слезет! Мне принесли кусок сала. Я сидел на жесткой, как дюралевая моторка, кровати и тер себе щеки шматом вонючего сала. Потер, потер, сало сильно пахло, я попробовал, соленое, духовитое, с пчичком, да и съел его.

На всю жизнь, это надо было осознать. Вот бы мертвый Слава взял и написал эту жизнь на новой своей картине. Напиши, Славка, на небесах! Ты же с небес все видишь.

Славка, я больше не буду у тебя ничего воровать. Никогда. Слышишь?!

Главное, жизнь, вот она. На ладони. Остальное приложится. Главное, не сопротивляться: не грызть удила. Тебя нахлестают! Спина вся

будет в волдырях. Тебе оно надо? А если будешь приличный, и книжки дадут читать.

Всякой твари тут по паре. Тюрьма на всю жизнь, крутая, грязная, с белой башней, издалека, из тундры, видна. Кому? Чайкам, песцам да Сиянью. Уж лучше бы шлепнули. Ты не живешь – и, значит, не страдаешь. У матросов нет вопросов. Эй, люди, кто за что сидит? Парень застрелил по глупости иностранца: из ревности, на попойке. Девчонку приревновал, а старший брат дал на вечерок пистолет. Дай поносить! И поносил, и пострелял. Все успел. Солдат семью расстрелял, спящую. Черт его разберет за что. Мы не допытывались. Он и так ходил мрачнее тучи. Повторял как сумасшедший: я солдат, я солдат. Гей задушил двух любовников, совсем пацанят. Заманил их, накормил, напоил, прельстил, уложил, потешился, да одному мальчонке сперва глотку платком перетянул, а другой завопил, хотел с балкона прыгнуть, а гей этот, сволочь, ножом его пырнул. Благо бы один раз пырнул. Шестидесят колотых и резаных ран на теле насчитали. Ну, он пацана резал, как мясник, и в раж входил. Наслаждался кровью. А другие? Они надвигались из тьмы. На прогулках у них из ночи, из колючей снежной тьмы глядели на меня из-под вязаных шапок птичьи клювы, собачьи морды, посверкивали, в лучах Сиянья, волчьи зубы. Я видел. Надо было гнать от себя этот северный бред, но я не гнал. Не умел. Иногда кто-то садился на снег, приседал, вроде как оправиться, и тут же превращался в толстую глупую курицу. Лапой он катал по снегу яйцо. Бать, это была чья-то голова. Лицо. Лица – это, бать, те же яйца, только в профиль.

Еще один был. Этот – жуткий. Мы сами хотели его растерзать. Его на прогулку выводили в наручниках. Так боялись. Он женился, развелся: жену бил, она сама на развод подала. В армию пошел. Из армии вернулся – жена вышла замуж за другого. Муж новый на работе. Он бывшую свою камнем по башке жажнул, руки ей связал, на свалку увез, там изнасиловал и камнем тем всю голову ей разбил, в кашу, в котлету. Потом вернулся, вошел в дом, там ее девчонки крошечные, двойня. Он подпалил дом, малютки живьем сгорели. Хотел и мужа ухлопать, да муж его поборо. Все думаю: а ес-

ли бы не поборол? Вся наша жизнь: кто сильнее. Этот, жуткий, на прогулке все время скалился. Почему? Будто смеялся. И молчал. Мы еще друг с другом говорили, другие. А он молчал. Не о чем ему было говорить с людьми.

Еще один был: восточный. С Кавказа. Он глотки резал нашим солдатакам, как баранам. Этот — смешливый! Все прошения подавал. На то, чтобы условно освободили. «Ну и што такого, я парням вашим горла резал, эта наши враги, парни ка мне в саклю пришли са смэртью, и я што, должин их с пирагами встречать?! А у миня жэна, детки, я што, их пад пули падставлю?! Лучши я сам убью, чем миня убьют!» Шуточками сыпал, прибаутками. Пел восточные песни и ногами в валенках перебирал, будто в ичихах танцевал. Снег летел из-под веселых ног. Он — жил! А как жили матери тех солдат, кому он глотки перерезал?

Мы переписывались с девчонками. Адресочки друг другу передавали. Когда девчонки узнавали, что сидишь пожизненно, сразу прекращали писать. Батя, батя, я однажды одной девчонке написал всю свою жизнь.

Ту жизнь, батя, какую ты знать не знал.

Ты ведь не знал, батя, как я жил.

<...>

Мужики там часто заболели чахоткой. Там все стены были, видать, усеяны палочками Коха. Они вдыхали туберкулез, потом падали, потом жар, кашель, тюремный лазарет, и потом нам никто ничего не говорил, но сарафанное радио в тюрюге работало, и мы узнавали: Петька из двадцатой камеры помер, кровь горлом пошла. Кровь горлом — это, значит, легкое порвалось. Я хотел заболеть. Это было бы прекраснее всего, так я думал тогда. Заразился, пометался немного на койке — и кирдык! И положат тебя в снеговое одеяло, крепко завернут. Да только тебе будет уж все равно.

Нет, не ловил я губами эту проклятую палочку Коха. Не давалась она мне. Иммунитет, видать, крепкий был у меня. И тут вдруг такое! Не могу объяснить. Себе не верил. И людям не верил. Думал, розыгрыш. Пришли ко мне однажды утром и в кабинет тюремного начальника вызывают. Иду, топочу по коридору, руки за

спиной в наручниках. Привели. Гляжу в лицо начальнику. Он глядит на меня. Сначала долго молчит, а потом говорит: тебе вышло помилование. Подписано вот кем, и на потолок пальцем показывает. О том, что ты на свободу выйдешь, никто не должен знать. Мы тебя из списков вычеркнем. Причину твоего исчезновения я тебе, говорит, не скажу, и не пытайся выпросить. И того, кто тебя под помилование подвел, тоже не назову. Нет тебя здесь и не было. Собирайся!

Я стоял как оплеванный. А вы мне в спину не выстрелите, спросил, когда я буду от вас уходить? Начальник помрачнел. Не выстрелим, выдыхает, да ты не уходить будешь, а тебя увезут. В автозак погрузят и до самого города домчат. До вокзала. А деньги, глупо спросил я. Денег мы тебе на дорогу дадим, мудро ответил начальник.

День отъезда из «Полярной чайки» хорошо помню. Пурга, от нее слепнешь. Бьет в рожу, глаза бельмами заволакивает. Аж желудок у тебя замерзает. Ведут меня по коридору, уже одетого. И руки уже без наручников. И не верю я этому ничему. Сейчас, думаю, отъедут от зоны чуток, из фургона на снег выгонят, и руки вверх! И даже за спину не зайдут, так в лицо, в грудь и будут палить. Погрузился я во тьму. Мотор заурчал. Покатила машина по снежной дороге. По моей дороге на океан. Я закрыл глаза, в лавку вцепился, тряся, тряся и задремал. И причудилось мне: вот он океан, и катерок качается на холодных волнах, и костер горит, я к огню руки тяну. А по берегу будто рельсы, рельсы тянутся. И под тусклым солнцем, как рыбы, серебрятся.

Из тьмы я выпрыгнул. Никто мне ни в грудь, ни в спину не выстрелил. Вокзал передо мной. И тут я понимаю: не хочу я отсюда никуда уезжать! Останусь. На работу устроюсь! И устроился. На строительстве железной дороги работал. Первое время так зверски работал, жадно, как волк, работу грыз. Шпалы укладывал! Рельсы укладывал! Тяжести таскал! Это я-то, вор! Так вкалывал — бригадир меня в пример ставил! Севера мои, севера. Рыбы свежие, меха, ветра! Звездочки железные, черная бездна... Я стихи наборматывал. Песни сочинял и под гитару пел. На гитаре научился. Пальцы, прав-

да, корявые. И на ветру стыли. Красные. Все равно брямкал. Костры мы жгли, да. Все как водится. Около полотна. О поездах мечтали. А потом нашу стройку взяли и прикрыли. Мы, ей-богу, ревели. Носы кулаками утирали. Бригадир начальников костерил. В снег садился, лоб в ладони утыкал. «Дорога, дорога! Все равно снегами все занесет!» Да, бать. Все равно снегами все занесет. Старайся не старайся. Всех нас. Все наши дороги, песни, костры, щеки горячие, все.

Мы хоть чуть-чуть поверили в стройку эту, в поезда, в океан. Океан ревел совсем рядом. Теперь уже ни во что не верят. Я-то верил потому, что на время перестал быть вором. Не быть вором оказалось достойно и славно. Хотя беззаветный труд мне уже, в голоде и холоде, осточертел. Наелся я труда. Денег нет, время вокруг тебя сжимается кольцом. Ты волк, а это твои красные флажки. Не вырвешься. Кормят тебя обещаньями. Кричат: завтра лучше будет! Я это все наизусть знал. Однажды проснулся — а с глаз будто пелена свалилась. Оглядел комнатушку, где спал. Дурацкий барак. Наледь на оконных стеклах. Ржавый советский чайник на тумбочке. Штаны на спинке стула висят. И так до самой смерти?! Я вскочил как ужаленный. Одевался как на пожар. Мало денег всучили в зарплату? Ништяк! Сворюю. Я вор! Был и буду им! И я ничей не слуга! Плевал я на вас и на ваш труд! И на вашу камеру вечную! Я сам вечный! Не догоните меня!

И побежал, бать, как вихрь понесся; и меня не догнали.

И что, думаешь, куда я на поезде поехал, в жесткой плацкарте? Правильно, в столицу нашей родины, город-герой Москву! А куда мне, старому столичному жителю, было еще ехать! До сих пор не знаю, кто меня из навечного заключения выдернул. Лысый Сухостоев? Может, и он. Но разве он так меня любил, чтобы так спасать? Может, один из тех, кто купил мою наилучшую картину, ну то есть Славкину? И пожалел меня, и достучался до Кремля, чтобы оттуда — в «Полярную чайку» — сигнал дали? Плевать. Охота была догадываться. Я снова вразвалочку шел по Москве, любимой и треклятой, и на меня, паршиво одетого, с презрением косились дамочки, шарахались от ме-

ня, я был все вместе: грязный, заразный, бездомный, небритый, с рожей как из тамбура заплеванной электрички, в северных, битых молю унтах вместо цивильных сапог. Руки в карманах, а карманы пустые! Я вспомнил себя, рыночного карманника. Обокрасть кого — не вопрос! Айн момент! Битте-дритте фрау-мадам! Доехал на метро до центра. Вышел на станции, раньше она называлась проспект Маркса, а теперь, видишь ли, Охотный ряд. Завалился на Центральный телеграф. Пристроился в очередь. Люди с бумагами в руках стоят, бумагами шуршат. Вынимают из кармана такие странные коробочки и в них пальцем тыкают, а потом тихонько в них говорят речь. Так я впервые увидел мобильные телефоны. Обалдел, конечно. Из кармана у впереди стоящего старикана, такого благообразного, важного, с седой бородой, я стащил такой вот телефон, бумажник и еще футлярчик; я думал, это тоже бумажник; а на улицу вышел, темно, вечер, фонари горят, вынул незаметно, рассмотрел — футляр для очков, и очки там. Красивые, в роговой оправе, с позолотой. Я примерил, ничего не увидел, плюнул и выкинул очки в урну. А в бумажнике у старика оказались и рубли, и доллары. Я доллары сосчитал. Приличная сумма. Хватит и одеться, и номер в славном отеле снять, и питаться как следует. У меня зубы, челюсти уже поело цингой. Перво-наперво зашел я в аптеку и купил хорошую зубную пасту. Иностранную. Чтобы десны не кровили.

И, ты знаешь, бата, что-то с временем случилось, а может, с пространством. Куда-то я впал, как в сундук чужой, а куда — не пойму. Одолевать меня стали дети. Разнообразные дети! Являться мне из тьмы, из ниоткуда; обступать меня. Мотаться передо мной маятником. Зашел я в бар коньячку тяпнуть и вижу: девчонка, бедно одетая, но жирно размалеванная, скорчилась под барной стойкой, как собачка приبلудная, ну, чтобы не заметили. Сидит, руками колени обхватила. А самой лет десять, от силы двенадцать, а краски на ней наложено густо, впору ее под горячий душ совать и шампунем всю эту гадость отмывать. Я сделал к ней шаг, другой, наклонился и тихо сказал, отчетливо: «Что, играем в шлюху? Ну-ка пойдём!» Она вскинула подмазанные густо глаза. «Ку-

да?! Никуда не пойду!» — «Дура, за столик вон пойдём. Расскажешь». — «Ну тогда возьми мне тоже коньяк. И бутербродик какой-нибудь, чтобы я под стол не свалилась». Я взял полграфина коньяка и два бутерброда с красной рыбой, мы сели за стол и стали выпивать и закусывать. Она выпила полрюмки, я отодвинул от нее графин и процедил: «Так, хорош. Теперь говори». И она рассказала мне свою историю. Лучше бы я ее не слышал! Все было у нее в жизни. Даже то, чего в жизни человека быть не должно. А вот у нее было. Я себя ребенком почувствовал рядом с ней. А она, ребенок, на меня большими глазами глядела. И все руку к коньяку тянула, и бутерброд вмиг изжевала. И все повторяла: «Ты не бойся, чувак, я не запьянею, я бывалая, бывалая». Я лихорадочно катал шары мыслей: так, к себе взять — куда, некуда, в отель — негоже, нельзя, а что, может, и можно, отмыть, почистить, и что, удочерить? Вырастить? Жениться на ней? На уличной шлюшке, малолетке? Пробы негде ставить? А зачем жениться, может, просто спать с ней. Ты подонок, если сделаешь это! Дать ей денег? Все мои деньги ей отдать? Она их растрясет мгновенно! Украдут у нее! За эти доллары — убьют ее! Заманят в подвал, на чердак и кокнут! А что, обязательно ее спасать? Непременно? Надо?! Кому надо? Тебе? Для чего? Для спокойствия совести твоей? А где она живет, твоя совесть? Где прячется?

Так я и отпустил ее с миром. Все-таки выпили мы с ней на пару весь тот коньяк. Графин опустошили. Апельсин я купил для хилой закуски. Доллары мне жалко было бармену швырять, расплачивался стариковскими рублями. Малышка опьянела, хоть и хорохорилась. Языком везла. Губки трубочкой складывала. Хохотала дико, икала. Рукой махала. На наш столик оглядывались. Бармен включил громкую музыку. Стало шумно, будто по бару шло, топало стадо. Пьяная малютка встала, покачалась, мазнула неловкой потной лапкой мне по лицу. «Спасибо тебе, чувак. Ты добрый. Пошла я». И она пошла к выходу и чуть не упала. Я глядел, как она уходит.

А тут приبلудился ко мне маленький больной бродяга; я его встретил около гостиницы, где жил тогда, кормил его, как кота. Он был

весь в язвах. Я не знаю, что это за болезнь. Вспомнил, как я заразился от проститутки в черных ажурных чулках, и представил себе свою судьбу, если бы я не лечился, — может, такие же язвы ждали и меня, в нем почему-то видел себя. Когда я возвращался с удачной воровской охоты к себе в отель, он сидел при дороге, прямо в канаве, на грязном асфальте, перед ним лежала его засаленная кепка, а может, чужая, он плакал настоящими слезами, они быстро лились у него по изъязвленным щекам, мелкие, мутные, и глаза глядели мутно и жалобно, маленькие, как эти слезки. Он провожал меня горящими глазами. Я чувствовал этот взгляд спиной. И не выдержал, обернулся. И подошел к нему. «Кто ты?» — «Я человек». — «Зачем ты тут сидишь?» — «А что, нельзя?» — «Ты болен». — «Знаю!» — «Тебе лечиться надо!» — «На какие шиши?! На эти гроши?!» Он взял с асфальта кепку и тряханул ею. Монеты зазвенели, бумажки зашуршали и упали в грязь. Я протянул ему руку. Ему, всему в язвах! «Ступай со мной. Сейчас зайдем в магазин, я куплю еды, и ты поешь». У него слезы перестали течь и ярче заблестели глазенки.

Я, и правда, купил всяческой еды и одноразовую посуду, мы вышли из маркета, пошли на бульвар, сели на лавку. Над нами стучали липы обледелыми ветвями. Мальчишка дрожал. Я снял с себя новый дубленный тулуп и укутал его. Мне для него почему-то было ничего не жалко. Знал: я еще добуду, сворую. Достану! А вот он — уже никогда. Никогда — дикое слово! Скажешь его — и язык отсохнет. Я глядел, как он ест. Он жевал и урчал. Уличный мальчонка, дикий, ободранный кот, весь в язвах и парше, кожа слезает, жизни впереди нет, а есть только мука одна. Мука! Опять она! Все страдают. А что, если для всех взять и своровать — счастье?

Как меня подмывало это сделать! Только в чем сундуке, на замок запертое, валяется это самоцветное, безумное счастье, никто не знал. И я тоже.

Пока он не съел все, что я купил, он не успокоился. Потом мы еще долго сидели на бульваре под ледяными липами. Голуби ходили по снегу, клевали вокруг нас наши крошки. Паршивый парнишка, закидывая голову, пил из бутылки кефир, из горла. Я все-таки дал ему

денег. Немножко. «Ты все время тут сидишь? Милостыню просишь? Или в разных местах?» Он таинственно ответил: «Москва большая!» Я согласился. Понял ли он, что я вор? Мне почему-то кажется, да.

И мне было перед ним стыдно, как грешнику перед священником. Почему, не знаю. Глупое чувство.

Я глядел на этого бродягу в язвах и вдруг вспомнил слепого мальчика там, в тюрьме, на тюремном концерте. Слепой мальчишка не был осужден сидеть в камере всю жизнь. Его, сказали мужики, привезли с другой зоны, из колонии общего режима. Он очень хорошо пел. Его, как певца, возили по лагерям. Слезу из осужденных вышибали. Нас загнали в зал, руки в наручниках, стоять, сидеть! Мы сидели и глядели на сцену. Медленно шел по доскам сцены этот слепой пацан; его под ручку вел дюжий, ражий дядька. Мальчик стоял посреди сцены, а дядька сел на стул и глядел как бык. Ему вынесли балалайку. Он затренькал по струнам. Слепой вдохнул воздух и запел. Как он пел! Бать, невозможно передать. Он пел так, как твоя душа. Если бы твоя душа могла петь. Пока он пел, из меня будто вылилась вся кровь. И стал весь пустой и легкий. Все горе наружу вышло и вся радость.

И вот этот тюремный ангел поющий вспомнился мне, а я на бродягу смотрю, думаю: да сквозь все эти свои язвы он ни в жизнь не запоет! Нет у него будущего, кроме улицы. А я что, благотворитель, что ли, какой, покровитель детей-бродяг, их кормилец и поилец. Может, я просто потихоньку спятил там, на северах, давно людей не видел, детей не видел, кроме того мальчонки в зале, певца, он пел и глядел на наши бритые лбы, на наши руки в блестящих наручниках, — он и об этом нам пел! А дети, дети... Понял я, бать, почему вдруг посреди огромного города я стал видеть несчастных детей, и эти дети сами ко мне липли.

Осознал я, что вот у меня-то, у меня после дурной болезни моей детей, сто пудов, не будет. Меня эта мысль как огнем сожгла.

А тут иду и голову поднимаю, а в окне, на высоком этаже, над землей высоко, двое детишек, как два бесенка, из окна выглядывают! Я на ходу погрозил им кулаком. Мол, давайте

убирайтесь с глаз долой! Что высунулись?! Они дразнятся, мне языки вываливают. Вечер. Снег мелкий в лицо летит. И что там такое случилось с этими детьми, то ли сами решились, то ли их кто сзади толкнул, то ли лишку перегнулись через подоконник, но сначала один ребенок выпал и вниз полетел, потом другой! Камнем падали. Я стою — остолбенел. Аж присел от ужаса. На улице никого. Ни души. Фонари горят. Синие, жестокие. Мертвенный свет. На земле, чуть заметной жестким снегом, два ребенка лежат. Я к ним бегу! Добежал! Вижу: мальчик и девчонка. Брат и сестра? Да неважно! Хватаю их, трясую. Оба глаза уж закатили. У девчонки череп всмятку. Мальчишка еще дышал. Потом выгнулся в судороге. И затих. Я пытался нащупать пульс у него на шее. Бесполезно. Уже мертвый лежал. Рот раскрыл, как галчонок. Лет семи-восьми оба. Я башку задрал, кричу: люди! люди! тут дети разбились! Люди! Быстрее скорую помощь! Может, еще спасем! Вынимаю из кармана телефон, набираю номер. А телефончик, как назло, отключился. Того старикана телефон, с Центрального телеграфа. Окно на первом этаже распахивается. Бабенка высовывается, вся в бигуди. «И не стыдно вам так вопить?!» Я рядом с детьми приседаю, трясую их и еще громче кричу: «Дети разбились, вы слышите! Они умерли! Умерли!»

И тут из подъезда народ повалил; нас обступили; кричали; машины подъезжали, и скорая помощь подрулила; да я видел, напрасно это все, тщетно.

А потом в гостиницу еле доковылял. Так они у меня перед глазами и стояли. Зачем выпрыгнули? Играли с жизнью? Играли со смертью, катали ее, как клубок — коты? А может, их взял за шкуру, как котят, и в окно вышвырнул — кто-то? Кто? Бесполезно себя спрашивать. Я взял в буфете бутылку текилы, к ней лимон и ветчину, поднялся к себе в номер и долго, всю оставшуюся жизнь, пил. Пил и не пьянел. Высасывал лимон. Грыз его. И челюсти не сводило. Ничего не чувствовал. Потом задал себе последний вопрос: а если бы это были твои дети?

И тут будто взорвался дикий свет перед глазами. Под черепом. Аж зажмурился. Я на миг

стал ребенком. Ну да, ребенком! Твоим сыном. Снова — мальчишкой. Еще до себя, во-ришки. Вроде бы я перед тобой стою. А ты, бать, во врачебном своем халате, в белом. И в белой шапочке. А руки у тебя в резиновых перчатках. А я так хочу, чтобы ты коснулся меня голыми, теплыми руками. Живыми. Родными. А ты трогаешь меня холодной резиной. Я стою, а ты сидишь, держишь меня за локти и коленями своими меня, как игрушку, сжимаешь. И смотришь мне прямо в глаза. А я голову пытаюсь от твоих глаз отвернуть. Да не могу. Я как занемел.

Затряс головой. Ты исчез, и я, мальчонка, исчез. Я открыл глаза. Текилы на донышке. Бра ярко горит на стене. Ковер вьет узоры. На казенном буфетном блюде валяется высосанный лимон. Я усмехнулся. Все лучше тюремной камеры. Вот вышел ты на свободу, парень, и опять за свое!

Голову вскинул. Напротив меня зеркало. Гляжусь в него. Какой ты парень. Ты мужик. Еще какой мужик, матерый. Брейся не брейся, лошеным уж не станешь. Не прикинешься господином. А может, погулять?

И я, пьяный в стельку, затворил за собой дверь номера, напевая, спустился в лифте на первый этаж и мимо дежурной прошагал вон, на улицу — и ввалился внутрь ночной Москвы, как внутрь турникета падает грязная монета.

Шел себе, шел. Слегка протрезвел. Голова гудела, и вся жизнь гудела. Что мне еще покажут в жизни? Мне уже много всего показали. Столовой ложкой хлебай, ешь не хочу. Я уже и не хочу. Объялся. Покоя бы! Где он, покой? «На том свете», — весело сказал я себе и хохотнул. Я был прав. Так ведь оно и есть. Попробуй поспорь. Там все отдохнем, когда умрем. А до того — вкалывай, мучься, уставай, бесись, не дадут тебе рздыху ни секунды.

Ядовитый акрихин реклам горел над головой, бился, пульсировал в прозрачных трубках дьявольский свет. Да, это дьявол надоумил человека сварганить такие вот ночные огни: вывески, буквы, цифры, фигуры, — вспыхивают и тлеют, а потом взвиваются опять то красным, то зеленым костром, на костре этом поджаривают ночь, весь город, как яичницу, жарят на неоновой сковородке. Я шел, качался, хлопал

глазами. Гнал мысли. Мне важно было не думать. Я там, на северах, в одиночке своей, обдумался. Удумался — на всю жизнь. Поэтому теперь хорошо было вычистить череп, вытереть изнутри досуха. Алкоголь хорошо помогал. Лучше любого другого снадобья. Иду, ша-таюсь, напеваю! Ночные прохожие передо мной тоже качаются, они тоже пьяные, идут и на ходу едят блины, свернутые трубочкой. Вот шагает навстречу мне мужик дивный! Потрясающий! Синий плащ с наклеенными серебряными звездами накинут на голое тело, грудь голая под крупной брошью, курчавые волосы видать, а сам долыса бритый: голова-яйцо, как у моего дружбана Сухостоева. Сапоги высоченные, до колен, ботфорты, и, с ума сойти, со шпорами! И джинсы обтрепанные. И вся одежда. А на улице мороз. Я мужика глазами провожаю. Синий плащ у него за спиной вьется. Ветер синий атлас треплет. Вышагивает он в этих ботфортах своих важно, как гусь. Я хотел его окликнуть: эй, ты кто такой? прикид на тебе классный! да крик в себе задавил, и правильно, зачем унижаться. Я слишком хорошо понял, бать: в жизни никогда ни о чем не надо просить и ничего не надо выпытывать, каждый живет своей жизнью, и лезть в нее — глупо.

Кто его знает, этот синий атласный плащ? Может, он убийца. Может, спятил и не лечится! Может, внимание привлекает: как стало в ту пору модно говорить, пиар себе делает. Может, у него болезнь такая, температура тела высокая, и ничем не сбить, и он себя охлаждает, по морозу голяком шастает! Мало ли что. Много догадок. Не надо из них ничего выбирать. Дайте человеку свободу жить как он хочет. И всего-то. Проще пареной репы.

Прошел мимо меня этот уличный царь в плаще на голое тело. Растворился в ночи. Рекламы играют надо мной. Ну как Сиянье. Мне даже почудилось: я на северах и гуляю по снегу, по кругу, в колодце двора знаменитой торяги «Полярная чайка», откуда нипочем не убежать, и вокруг стылая тундра, и под валенками снежок хрустит, как мелко перемолотые кости. Красивые дамы шли под ручку с красивыми господами; они шли из ресторана или в ресторан. Ночные заведения мигали огненными надписями, зазывали. Город жил ночной

жизнью, она была гораздо интереснее дневной; пламенная, соблазнительная. Я про рестораны все знал. Я туда не хотел. Я и так был сыт и пьян, и нос в табаке. А, да, табак, надо курнуть! Встал под фонарным столбом, в круге света, чтобы сигарету и зажигалку видать, чиркал, чиркал колесиком, нет огня, нет опять, тьфу, незадача. Швырнул зажигалку в урну. А из-за урны выходят эти двое.

Старикашка, сгорбленный, скрюченный весь, кочерга живая, и как только движется, чуть ли не вприсядку, да идет, тащится еле-еле, — и рядом с ним девочка. За руку его ведет.

Я и забыл, что курить смертельно хотел. Глаз от лица этой девчонки не могу отвести. Знаешь, батя, какое лицо! Не лицо, а икона. Вру! Вру! Такая узкая, нежная дынная семечка. Какая, к черту, икона, там сплошной Восток! Восточная девчонка, за версту видать. Может, чеченка; а может, турчанка; а может, арабка. Какие арабки в России! Еврейка, как пить дать. А впрочем, сейчас весь мир перемешался. Все теперь везде. Все народы, все люди. Никто не привязан к селению и к дому. Все по планете ползают, друг друга взрывают. Тогда как раз такие годы начались, ну, ты помнишь, все везде взрывать начали. Люди обнаружили, что смерть — лучшее лакомство. И в ресторан ходить не надо. Лучший гипноз: снимает любой невроз. Лучшее воровство: ты украл сразу кучу невинных жизней, и значит, ты почти Бог, ты у Бога — Его самого своровал. И за пазухой держишь. И шепчешь себе: я владею вами, людишки, я один бессмертен.

Стою. В лицо этой восточной девчонке гляжу. И она глядит на меня. Безотрывно! У меня аж мурашки по спине поползли. Маленького такого росточка. Ну совсем крошка. А старикашка не хочет останавливаться, дергает ее: мол, вперед, вперед пошли, что застряла! Она руку из его руки вырвала. Стоит. Я делаю к ней шаг, другой. Хочу ее о чем-то спросить. Она палец ко рту прикладывает: молчи! Стою молчу. Старикашка наконец тоже встал. Оба теперь на меня глядят. И я на них. Молча. Глупо так молчим, все трое.

И то правда, о чем болтать? Все выболтано уже. Сколько речей произнесено! Воздух от речей сотрясается и горит. А потом сгорает в

пепел, и время, политое нашими щедрими, взахлеб, речами, сгорает, и никому не нужны людские слова, слова. Наши мысли это тоже слова, но они хотя бы копошатся у нас в голове. Мы ими никому не надоедаем. А словами можно всё-превсё сделать. Войну развязать. Оскорбить. Вылечить. Убить. Да, словом можно вылечить, а можно и убить. Козе понятно. Если скомандовать — всю землю можно убить одним словом. Приказ есть приказ. Все так и будет когда-то. Третья мировая? А четвертой не хотите?

Я перевожу глаза со старикашки на девчонку, с девчонки на старикашку и вдруг понимаю: это моя жизнь. Ну, эти двое, это жизнь моя. Будущая. Таким вот старикашкой я в результате стану. Время быстро летит. А девчонка — это моя смерть. Смертушка! Красивая такая. Восточная принцессочка, пери. Глазки черные, огромные, ресницы богатые, она ими хлоп-хлоп. Нежная, изящная. По улицам бродит? Бродяжке платьё ей даже идет. Лохмотья нищие, плохонькие. Я, честно, не упомянул, в чем таком она была. В чем-то бедном, замызганном. Тряпьевом. Не суть важно. Ее лицо, вот что было важно. Эти глаза все знали про меня. Эта улыбка.

Бродяжка смерть! Прошу тебя за дверью подождать. Ой нет, любовь, прошу тебя со мной — потанцевать! Я сделал шаг вперед и нагло взял мою смерть за руку. Ручка оказалась нежной, мягкой, очень гибкой, будто атласной. Рекламы неонem смеялись над нами. Скалили огненные красные зубы. Ночь обертывала нас черным теплым мехом. Мороз щипал уши, серебрил брови. Старикашка, ну, значит, моя жизнь, зашамкал беззубо: «Я же тебе говорил, дурушка, мы опоздаем! Наш же ровно в чаш ждуч! Некрашиво опаждывачь!» Мне хотелось пожалеть свою беззубую, беспомощную будущую жизнь. Как я того пацана, в язвах, кормил, так же мне хотелось накормить старика. Но они оба куда-то опаздывали. Я был им помехой. Может, это я для них был пьяным бродягой, а не они для меня? Все зеркально перевернулось. Зеркало, жизнь, перевертыш. Я вспомнил, как я перевернул зеркало, где отражались Славкины картины. И все в это поверили! И вот теперь я, бродяга, стоял перед мо-

ими царями. На ночной улице. В сполохах наглых огней. Никому не нужный. И это мне — у них — милостыньку надо было просить.

Моя смерть нежно держала меня за руку. «Эй, мужчинка, отчего ты такой печальный?» Она заговорила со мной! Она узнала меня! А когда она меня возьмет с собой, сейчас или потом? Да хоть сейчас! Да все равно! Я уже так часто видел ее в лицо. Меня не запугаешь.

«Я, это, знаешь, сам не знаю. Радоваться бы надо! Ну, что живой. А я вот грущу. Это негоже, понимаю. Да ты меня за это простишь. Простишь ведь? Не будешь наказывать? Не надо меня наказывать. И вообще! Никого! Ни за что! Наказывать! Не надо...» Черт знает, что я молол. Она все понимала. Глаза и рот ее улыбались. Потом улыбка погасла. Очень серьезно, тихо, тише летящего снега, она сказала мне, подняла голову и еще глубже мне в глаза заглянула, и я совсем в ее глазах восточных потонул: «Радуйся, я тебе говорю, радуйся. Ты просто радуйся и живи. Если сможешь, люби. Не сможешь — не старайся. Каждый живет как может. Хочешь, давай милостыню, хочешь, нет. Пока ты жив, исполняй свои желания. Но не все. Не все! Есть плохие желания. Уходи от них. Убегай! Ты вот любишь Новый год? Ну, елку?»

Я опешил. При чем тут елка? Морочит мне голову эта бродяжка! Скорей отсюда, делай ноги! Это восточное колдовство! Я догадался, это же цыганка, и она сейчас тебя взглядом к стене пригвоздит, ты сам, умалишенный, руки-ноги раздвинешь, она обчистит твои карманы, захотнет и ускользнет, а ты очнешься через минуту, оглянешься туда-сюда, схватишься за голову, застонешь: горе мне! Какое, к чертям, горе. У тебя в карманах-то — последние сворованные деньги. Чужие деньги. Потрать их на нее. Без всякого колдовства.

Я кивнул: «Люблю». Девчонка опять улыбнулась. Ее улыбка горела ярче реклам в морозной ночи. «Елка, тебе надо снова научиться ее наряжать! Ты когда наряжал ее в последний раз?» Я опять онемел. Мысли цеплялись друг за дружку ржавыми шестернями. «Ну... в детстве...» — «Ага, в детстве, — выдохнула она. — Ты помнишь, что ты чувствовал, когда надевал на колючую ветку стеклянный шар? Или золоченые часы? Или серебряные шишки?» У

меня губы тряслись. Я терял дар речи. «Нет. Если честно, не помню. Плохо помню». Она сильнее сжала мою руку. «Так тебе надо это вспомнить! Жаль, Новый год прошел. Надо ждать следующего! Елка, знаешь, это же такой священный зеленый холм! Она стоит на кресте. Царица! Нарядная! Царская гробница. Под ней знаешь что похоронено? Время. Время! Ты слышишь меня?»

Я глядел обалдело. Девчонка раскинула руки, превратилась в живой крест и радостно крикнула мне: «Смотри! Я сама елка!»

Я твердил себе: ты перепил текилы, старик, у тебя скособочилась крыша, но это ничего, это все сейчас проветрится, а эти двое исчезнут навсегда. Пропадут из моей жизни. Канут во мрак. Их заслонит миганье реклам. Они сами станут рекламой — святой, безгрешной жизни. Елка! Это ж надо такое выдумать! Девчонка закрутилась, раскинув руки, на одной ножке. Елка вертелась. Колючие ветки весело торчали. Блестящие игрушки, золоченые, бумажные, серебро фольги, россыпи цветных бус, стеклянные тонкие травинки, картонные красные грибы на белой крашеной ножке, узорочье снежинок и обсыпанные блестками часы — их стрелки показывали без пяти полночь, розовые фонарики с холодным огнем внутри и настоящие восковые свечки, и уже языки живого пламени треплет метельный ветер, — а где же гирлянды, елку же надо обмотать гирляндами и их зажечь! Раз, два, три, елочка, гори! Какая ты красивая! Восточная, раскосая, перевиты жемчугом косы, зеленая парча колючая, густая и дремучая! Я шагнул вперед и обнял елку. Обхватил ее руками. Поймал. Крепко держал.

Как она выскользнула из моих крепких тюремных рук, ума не приложу. Скользящая оказалась, как рыба. Ключки ее ветхой одежки остались у меня в пальцах. Старик быстро заковылял прочь. Я оглядывался. Девчонка испарилась. Старикашка шел один, спотыкался. Ругался, еле удерживался на ногах и брел дальше. Где елка?! Зеленое веретено... Что толку оглядываться. Нет смерти. Нет. Она просто подразнила тебя. А может, ты будешь жить вечно. Вечнозеленое дерево украшают; наряжают могилу времени, правду тебе сказали. А Новый год в этом году когда? А, еще год ждать!

Я ощутил, как загорелась спина. Будто кто-то мне куртку поджег. Обернулся мгновенно. Восточная девчонка стояла сзади меня. Она беззвучно хохотала. Зубы на грязном ее, смуглом лице сияли чистые и белые. Светились белым неоном в ночи. Реклама зубной пасты. Чисти не хочу. Я хотел схватить ее за руку. Она увернулась. Побежала от меня по ночной улице, и я удивленно глядел на ее босые ноги: пока она плясала передо мной в виде елки, с ее ног свалились старые дырявые сапожки. Она бежала босыми ногами по наледи и грязи, ее ступни становились красными, лед разрезал их, из нежных пяток текла кровь, она бежала, и я следил за ней, как она убегает. И я шептал только: вернись, вернись, ну прошу тебя, вернись, вернись когда-нибудь.

Батя, вот не ври мне только, ты же частенько думал о смерти. И сейчас ведь думаешь. Глядишь на меня и думаешь: а когда он умрет? Не трясись головой, думаешь! Да я и сам думаю. Но там, в тот вечер, я все понял. Смерть станцевала мне еловый танец, мазнула хвостом и унеслась. Погасла. Это означало: живи. И я стал дальше жить. Но о смерти стал думать немного почаще. И о себе тоже. Деньги заканчивались, надо было их красть. Чудом я не попадался; только чудом. Скажешь, Бог меня хранил? Да разве Бог такой дурак, что хранит воров? Он нас небось ненавидит. Всех прощает? Тем более грешников? Ну, ну, слышал я эту старую сказку. На самом деле, батя, никто никого никогда не прощает. Все помнят зло, что им причинили. Старые раны не заживают. Они всю жизнь гноятся. В особенности, если были заработаны справедливо. За дело.

<...>

* * *

Да, больной был. Некрасиво болел, стыдно. Да, бездетный. И весь насквозь нищий. Да, опять дерьмо я был собачье. А может, еще все будет! И дети тоже родятся! Не до детей мне тогда стало. Не везло мне с воровством. Карманник я стал плохой. И стал ментов бояться. Боялся: нарвусь-таки. И уже не вырвусь. Больше так, как из «Полярной чайки» спасли, меня

не спасут. Закинулся я как-то на Белорусский вокзал. Стою, нюхаю запах мазутных шпал. И сердце, батя, стеснилось. Вспомнил, как железную дорогу строил на северах. Что бы мне там не остаться! Не жениться... Вот бы и детишки пошли... Пил бы водочку по праздникам, мял бы женку... Столицы захотелось. Лакомых ее кусочков! А что, я был фраер, избалованный по гроб жизни. Стою на Белорусском, гарь поездов нюхаю. Тепловозы гудят! А я стою на перроне, дым глотаю, на селечные рельсы гляжу и — стыд — жрать хочу. Я опять стал нищий и голодный. Из роскошного отеля съехал. Закончились баксы того дедка, с Центрального телеграфа. Стою, тоска такая! И тут вдруг поезд к перрону подваливает, вид у него такой странный, иностранный, двери раскрылись, и на снег высыпаются пассажиры. Встречают их. Все обнимаются, челомкаются. Чемоданы подхватывают! У меня слюна потекла. Думаю, дай-ка я носильщиком на вечерок заделаюсь, чемоданчики народу приезжому поднесу! Авось и подработаю, зашибу деньгу честным трудом! Почти все курлычут не по-нашему. Я так понял, по-польски: пши, пши. Я к паненке одной рванул. Чемодан у нее из руки выхватываю. Дайте, дайте я вам поднесу! Куда вам? До такси? Или вас на машине встречают? Или вам до метро? Она мигом охватила ясными, светлыми глазками мою голодную стыдную рожу. На ломаном русском отвечает: «Проше пана, мне до станция такси, а потом до хотелю «Космос»! Едем з Варшавы, проше пана! В Москфе перфши раз!» Я аж заикаться стал, так старался ей все внятно-понятно объяснить. Про Москву, про гостиницу «Космос»; про себя. А про себя-то я зачем рассказывал? А делать было нечего, пока мы сквозь толпу к стоянке такси с ее тяжеленным чемоданищем пробирались.

Она слушала меня вполуха. Что-то свое лепетала на жуткой смеси польского и русского. Я, как ни странно, все понимал. А что тут понимать-то, языки похожи. Дотащились до такси. Долго добирались по вечерней Москве до проспекта Мира: час пик, всюду пробки. Я вспомнил свою машину, «бьюик». Аж горло веревкой перетянуло. Слова сказать не могу. Потом раскашлялся. Слезы украдкой утер.

Она в зеркало шофера эти слезы мои видела. Но думала: это я от натужного кашля.

Донес я чемодан громадный прямо до двери ей. До ее номера. Она пригласила войти. Заказала ужин в номер, на две персоны. Чем я ей так приглянулся? Ума не приложу. Значит, бать, бывшее обаяние во мне еще играло. Иначе с чего бы это иностранная баба кормила ужином в гостиничном номере нищего носильщика с Белорусского вокзала? Все уравнилось: кормил я, теперь кормят меня. Я ел, она на меня смотрела. Я смотрел на нее. Ничего так бабенка, пойдет. Стройженькая, рыжие волосы туго стянуты на затылке в конский хвост, глаза выпуклые, как у рыбы, красиво подмазаны. И губы перламутровые. У меня женщины не было сто лет. Бать, мы переспали, а что в этом странного? Прежде чем всему случиться, я душ принял. Сто лет не мылся! Постановывал от удовольствия!

Она из чемодана выгрузила альбомы. Уменьшенькая бабенка оказалась, с искусством связанная. Она статьи писала про исторические памятники, про разные там церкви и монастыри. По музеям шаталась по всему миру. Так в самолете, в поезде и жила. Весь мир объездила, а в Москву только вот попала! Хотя Варшава раньше русской была: в составе Русской империи, это она сама мне сказала, я не знал. Альбом открыла, пальцем тычет. Леонардо, говорит, да Винчи, знаешь такого? Вот его я знал. Кивнул. С репродукции глядит женщина. Грациозно так обернулась, губки крошечные, шея длинная, в смешном чепчике. А на руках у нее зверек. Светленький такой. Я думал, крыска. Она мне, паненка моя, шепчет на ухо: гроностае. А, догадался я, горностаи! Она смеется и меня целует. Альбом на пол падает. Это она меня хотела из рук вон как, а не я ее!

Так я и стал ее называть в честь Леонардо: паненка с горностаем. Она мне говорит: у меня дома такой же живет. Ручной горностаи. Хищник, но я его люблю. И тебя тоже люблю, шепчет, кохам че! Вот еще глупости, думаю себе, любовь такая, глупость большая. Ну, переспали пару раз, это же ничего не значит. Значит, значит! Она мне сама заграничный паспорт сделала. Кому-то большие деньги приплатила; принесли на следующий день, с

доставкой в номер. Что она сказала на ресепшене? Что я ее муж? Любовник? Выезжать из России становилось все проще. Европа объединилась. Стерла границы. Бурлила и вспучивалась опасная Африка. Арабы лили кровь. Все чаще гремели взрывы: люди входили во вкус большого убийства. Одна война заканчивалась, начиналась другая. А моя паненка ахала и охала, созерцая изящество русских храмов. Она не вылезала из Третьяковки, из галереи Церетели. «Ты бендешь артыста! Ты естешь талант!» И глядела на меня и восторженно, и иронично. Каким еще артистом, мрачнел я. Я и так уже великий артист! Ну не говорить же ей было, что я вор. «Артыста, так, то по-русску... ху-дош-ник!» И художником я тоже уже побывал. Но я обнимал ее и смеялся; не огорчать же мне ее отказом.

Дело кончилось тем, что она взяла нам два билета до Варшавы.

Варшава оказалась мрачной, или это мы прибыли в нее в такие мрачные дни. На улицах стояли люди с тряпками в руках, с колбасой, с русскими самоварами, до блеска надраенными. Продавалось все, и мертвое и живое. Птички, рыбки, кошки, псы. Я видел, как на блошином рынке продавали тигренка. Он смешно рычал: агрррх-х-х! Люди толпились вокруг, каждый хотел его потрогать и боялся. Я подошел и смело потрепал его за холку. Тигренок тяпнул меня за палец. Моя паненка перевязывала мне палец лейкопластырем, из глаз ее текли слезы, будто она нанюхалась лука.

Мрачные дома, мрачное, как старая баня по-черному, Старе Място. Мы забежали в ресторанчик, у меня было ощущение, что я попал в Средние века. На железных блюдах принесли жареное мясо и гусиную печенку, обложенную виноградными листьями. Я глупо спросил: а в Польше выращивают виноград? Моя паненка обворожительно улыбнулась. «Вино польске ест знаны, отшень зна-ме-ни-то. Швятомартинске вино!» Она щелкнула пальцами, подошел толстяк кельнер, принял заказ, приволок нам пару бутылок. Я заценил.

Горностаи оказался правдой. За ним ухаживала домработница. Или не знаю кто, как у них в Польше это называется. Горничная, может? Молоденькая, но толстенная, вся в подушках

жирка. Она тетешкала горностаю, как ребенка. Зверек терпел. Не кусался. Жил он без клетки, зато у него была настоящая постелька, как человеческая, только маленькая, и серебряная миска для еды. Я глядел на это все и вспоминал свою железную койку в «Полярной чайке». И круглую дырку, в которую смотрит надзиратель: не наложил ли я на себя руки.

Паненка часто брала горностаю на руки и гладила, гладила. От шерсти летели искры. Может, она хотела сделать меня для себя таким вот горностаем?

Она не нашла ничего лучшего, как повезти меня поклониться могилам своих родителей в далекий монастырь. Мы долго ехали в сидячем поезде. Потом долго шли раскисшими весенними полями. Снега еще оставалось много, небо становилось все выше, я смотрел в это чужое небо и думал: нет, эту страну я не хочу украсть, она какая-то бледная, то слишком жирная, как фляки в харчевне, то слишком тощая, невкусная. Паненка шла впереди. Она показывала дорогу. Я шел за ней, как слепой. Меня достало, бать, что все вокруг говорили по-польски, я устал слушать чужую речь.

Бать, я даже не представлял себе тогда, сколько же лет я буду слушать ее — только чужую.

Мы вошли в каменные ворота кладбища. На земле белели надгробья и возвышались памятники, как сталагмиты. Я помню громадный, устрашающий памятник, из черного гранита с красной искрой. Мы шли сначала торной дорогой, потом тропинками. Паненка молчала. Она искала могилы. Я от нечего делать пытался вслух читать надписи на дощечках, деревянных, мраморных, пластмассовых. Смешные польские фамилии! Там густо лежал снег, у меня в него проваливались ноги. Снег набивался и в сапожки паненки, а ей хоть бы что. Вдруг она остановилась. Вдалеке каркали вороны. Прямо над нами, на кусте, пела невидимая птица. Холодало. Я мерз. Мне жутко хотелось или в теплую кафешку, или обратно в Варшаву, домой, к горностаю. Как назло, мы ничего не взяли с собой перекусить на это чертово кладбище. Паненка глядела на разрытую могилу. Я подошел ближе и заглянул в яму. Ни бутерброда с колбасой, ни яблока пожевать, ни

черта. Живот подвело. Ну и что, стоим у сырой ямы? Значит, ее только что вырыли и сейчас сюда придут. Хоронить.

Паненка будто почувяла, что я помираю с голodu. Раскрыла сумку и вытащила оттуда конфету. «Цукерка, — прошептала, — проше». Я зажевал конфету, вскинул голову и увидел: к нам сюда медленно, важно идут люди, это похороны, да.

Люди шли по дороге, и это были монахи. Все в длинных черных хламидах. Передний монах нес крест, высоко держал. Монахи месили сапогами грязь, глину и тающий снег. Какие-то дядьки шествовали в черном, а какие-то — в белом, белые такие кофты доходили у них до самого не могу, и я фыркнул: как бабы на пляже. Все шествие напоминало мне не процессию людей, а процессию букашек. Жуков, тараканов. Монахи подползли к воротам кладбища, и я уже различил печальное нестройное пение. Плохо они пели. Слуха у них не было. А ведь священников учат петь, да? Специально учат, ведь на службах, бать, они так поют, любо-дорого послушать, что тебе опера, лучше.

И вот они уже перед нами, на тропинке. Как кони по узкой тропе, идут друг за другом, осторожно ступают. Чтобы в снег не свалиться. Петь бросили. Около свежей ямы встали. Нас видят, но вида не подают, что мы здесь. Будто нас тут и нет. Опять песню завели. Где-то далеко ворчал автомобильный мотор. Я понял: грузовик, и уже сгрузили гроб, и уже несут его сюда. Верно, вон он, гроб, показался над головами, люди мерно шли и на поднятых напряженных руках несли этот гроб, последнее пристанище человека на земле. Я воззрился на гроб, будто впервые увидел, как человека хоронят. В зобу дыханье сперло, будто бы это моего родного, родню погребали. Я закрыл глаза и увидел тебя, бать. Я не шучу! Тебя! И ты вот так же лежишь, как этот, которого тут с открытой крышкой к яме торжественно несут, точно так же, вытянутый, неподвижный, а я еще двигаюсь, и я, бать, на тебя гляжу. Я — живой — на тебя — мертвого.

Мороз у меня по коже подрал. Я глаза открыл. Люди идут. Я стою. Моя паненка глядит на монахов, глаза у нее остановились, расширились, она гладит, гладит себя по локтю. За

гробом шли мужики, по виду крестьяне, в грубых башмаках, с нечесаными волосами; они почему-то несли на вытянутых руках большую шкуру белого медведя.

Поющие монахи, люди с гробом над головами и мужики с белой шкурой молча, медленно прошли мимо нас и мимо разрытой ямы. Я глядел тупо, ничего не понимал. Паненка наклонилась ко мне и шепнула: «Идон до швентыни, там ест погжеб». Погреб какой-то, думаю, а, погребение. Ну, отпевают, значит, по-нашему. Она махнула рукой, и между стволов чахлых березок я увидел церковь. Эти их церкви чужие. Шпили как иглы. В небо вонзаются, как вилки в жратву. Острые, как ножи. А внутри там у них темно, сыро, и правда как в погребу. И свечи толстые, белые. Как из свиного жира. И вместо икон картины висят. Как в музее. Мы пошли за монахами. Вошли в ихний собор. Откуда-то сверху звуки льются. Я как в воду окунулся. Замер, забалдел, как от водки. Враз нагрелся, даже взмок весь. Это играли на органе. Я впервые орган услышал. Очень чудесная музыка, бать, прямо невообразимая. Эх, вот бы на такой гармошке научиться! Век бы эти клавиши перебирал. Да у каждого своя судьба. Один монах шагал вокруг гроба, махал круглым железным яйцом с дырками, яйцо болталось на цепи, из дырок валил пахучий дым. Все кланялись и прижимали ладонь ко лбам, к сердцу и ко рту. Пахло пожарищем, гарью, немного полыньёю и медом.

Потом монахи закончили петь и вынесли гроб наружу. Мы с паненкой вышли следом. Поволоклись за ними к яме. Я уже смирился с тем, что мы должны проводить этого незнакомого пана в последний, как говорится, путь. Монахи на толстых веревках осторожно опустили гроб в яму. Я смотрел на желтую, красную глину, она ломтями отваливалась со стен раскопа. Потом заработали лопаты. Яму засыпали так быстро, я даже удивился. Как все вообще быстро! Быстро ты живешь, быстро умираешь; быстренько закапывают тебя и так же быстро забывают. Кому ты нужен? Ну, честно, кому? Все бормочут: Богу, Богу! Да и Богу, если Он есть, по большому счету ты сдался. Не нужен ты Ему. У Него и без тебя, малого таракана, забот хватает.

Монахи и крестьяне забросали могильный холм еловыми ветками. Я вспомнил мою живую уличную елку, восточную оторву, что танцевала передо мной на ночной улице. И так в Москву захотелось! Что я тут делаю, потрясенно спросил я сам себя, что, — а время ломало меня, как хлеб, по-своему и по-своему жевало: острыми зубами. У меня кольнуло в сердце, раз, другой, а потом так прихватило, что я света не взвидел. Глаза вытарашил и валюсь. Пальцы крЮчу и воздух царапаю. И ничегошеньки уже не вижу. Ослеп! Только слышу: паненка моя кричит как резаная. И чую: меня схватили и несут. Короче, очухался я в больничке. У них там при монастыре больница была. Маленькая и жуткая. Там в вестибюле на полу была черным кафелем по белому выложена свастика. Еще от гитлеровских времен осталась. По этому военному узору топали монахи в сапогах и звонко цокали каблуками женщины в белых халатах: заезжие врачи. Монахи лечили себя сами, но иногда их посещали городские доктора. Проверяли.

Так вот, очнулся я. Сердце болит — сил нет! Хотел встать — меня на кровать насильно опрокинули, приказывают: лежи! Спрашиваю, что со мной. Мне как отрезали: разберемся. И все. Ни слова. Паненка моя тут вьется, присела на койку, припала щекой к моей руке. Руку держит мою и целует. Бать, так думаю, любила она меня. А я ее нет. Я ею — пользовался. Просто так. А интересно было, куда кривая выведет. «Я, — лепечет, — приеду к тебе, приеду!» И что-то такое нежное добавляет, ну, бабы же, это как водится. И упорхнула. К горностаю.

Я долго в том госпитале валялся. Монахи то и дело приходили к моей койке, вставали кругом и пели песнопения. Это они за меня так молились. Молитвы молитвами, а лекарства лекарствами, и уколы, и процедуры. Рентгены всякие, кардиограммы. Изучали меня. Глядели на просвет. Что-то во мне, видать, сломалось, и починить было трудно. Когда я поправляться стал, меня приучали двигаться. Заставляли делать легкую работу. Поднести медсестрам шприцы на лотке, подмести мокрой щеткой палату. Ватные тампоны навертеть. Ну, так, всякую ерунду. Мне нетрудно. Делаю. А паненка моя ко мне все не едет. А мне в этом гос-

питале со свастикой все лучше становится. И телом лучше, и душой. Вроде как я дома. Военная дисциплина и стерильная чистота. И грязь, ее надо убирать. И никаких мыслей в башке о воровстве. Ни малейших. Чист как стеклышко. Святой, да и только! Монах в синих штанах!

И только я хотел попросить главного врача, ну, самого крутого монаха, старика хирурга, там у них пожить, ну, в смысле, поработать, остаться еще немного в этом госпитале, где свастика фашистская выложена на полу, как напоминание: будет война! не отвертитесь! — как он сам, будто мысли мои поймал, мне говорит: ты, сынок, у нас оставайся, тебе ведь тут хорошо? И я радостно киваю: хорошо! лучше не бывает! И он разулыбался. Вот и славно, говорит, вспаняле! Я уже по-польски сносно понимал. И даже чего-то сам мог языком изобразить, не только на пальцах. Так я стал в той монастырской больничке медбратом. Еще не послушником, но уже — послушным. Меня как подменили. Я сам себя не узнавал. Что со мной стряслось? Неужели для того, чтобы стать порядочным человеком, как все, надо было приехать в чужую страну и мыть хлоркой полы в бывшем немецком госпитале?

А тут, батя, меня мое время и опять украло у меня. Подстерегло.

Мою, драю, грязные бинты-вату в мешках во двор выношу, шапку белую дали, халат выдали, что еще нужно? Мне — ничего. Передышка — моя! Я — нужен. В воздухе тревога носилась. Подходит ко мне монах. Я такого лица тут никогда не видел. Но в рясе, в этом их балахоне до пят, в клобуке. Наклоняется низко и шепчет тихо, чтобы никто не слышал: «Требуется твоя помощь». Я жду, что дальше скажет. «Много денег заплатят». При слове «деньги» я наострил уши. «Уговор: никому». Про молчание говорят, когда дело опасное. Ноздри у меня наметаны. Я сразу ощутил: воняет убийством. Долго кокетничать не стал. Спрашиваю: «Кого? Когда?» Монах аж побелел. Ну, что я так быстро догадался. Может, это он со мной хотел пококетничать, информацию известкой замазать. Да я сразу быка за рога взял. Монах губешки разжал. «В госпиталь привезут одного. Приметы: лысый, и большая черная родинка на верхней губе. Вот его». — «Как?

Чем? Я не хирург. И не мясник». — «Чем хочешь. Есть же лекарства. Уколы. Превысь дозу». — «У меня нет допуска!» — «Так добудь его». — «Кто его заберет, когда дело сделаю?» — «Не твое дело». — «Когда?» — «Завтра». — «Идет». — «Почему ты так быстро согласился? Так легко?» Ну не рассказывать же ему было, как я убивал и закапывал. И как в мусорный контейнер бросал. «Я вообще легкий на подъем». Монах хмыкнул. Я стрельнул глазами: «А деньги когда?» — «Половину сразу». — «Сейчас?» — «Что за глупый вопрос».

Монах вынул из кармана сверток. Мы оба наклонились над пустой койкой, якобы поправить одеяло. Сверток перекочевал ко мне за пазуху. «Вторая половина завтра вечером. Передаст женщина».

С тем и разошлись.

Я в госпитале том спал в каморке рядом с ординаторской. Раньше это была кладовка, тут держали мешки с грязным бельем; потом оборудовали для спанья медперсонала, оклеили стены обоями, привинтили лампочку, поставили раскладушку. Здесь спали дежурные врачи, а иногда и сестры, дверь закрывалась изнутри на ключ. Может, здесь устраивали любовные свидания. Монахи? Почему бы и нет? Монахи что, не люди? Я не верю обетам. Человек выставляет себя тем, кем хочет быть. А на самом деле он другой. Он — настоящий. Такой, каким его создала природа. Ну, иным словом, Бог. Против природы идти? Что за дурь.

Пошел я к себе в каморку, на раскладушку завалился. Пытаюсь уснуть. Не спится.

Слышу: в коридоре топот, возгласы. Ну вот она, бессонная ночь.

Привезли и правда больного, на машине. Необъятный, тяжеленный, лысый. Как мой стародавний дружан Сухостоев. Двое носилок понадобилось и четверо монахов, чтобы его в палату затащить. И меня позвали. Я пятым был, в ручку носилок вцепился. Доволокли. Сгрузили. Мужик в бессознанке. Монахи его накололи разными уколами, капельницу воткнули. Мне приказали: следи! Я сел на табурет и стал следить. А самого меня бьет-колотит.

В палате никого, он один. Все койки пустые.

Вот больничка утихла. Затихли стоны в палатах. Заснули люди. Спящий — беззащитен. А

толстый мой, вместо того чтобы захрапеть, вдруг взял да и открыл глаза. Осмысленные. В себя пришел. Понял, где он и что с ним. И такой ужас в глазах написался! На меня глядит безотрывно. Просверливает зрачками. Губы запеклись, но он их все равно дыханьем разодрал. И — по-русски мне — прямо в рожу: «Эй, парень, слушай, это Польша?» Потом опомнился. «То ест Польска? Гдже я естем?» Вот когда он по-русски мне врубил, бать, тут я и пересмяк. У меня все потроха в кисель перемешались. А на месте сердца, что так дико болело, образовалась огромная дыра. «Брат, все нормалёк. Не дрейфь. Я тоже русский. Я тебя спасу». Сказал и обмер. Я, его назначенный убийца. Купленный! Но я не мог его убить! А деньги за пазухой жгли кожу и душу. Я сунулся к нему. «Идти можешь?» Толстяк закричал. «Попробую». Я помог ему встать. На улице холодно, он в пижаме больничной, без куртки, без джинсов. Я ему говорю: «Раздевайся!» Он с себя все поскидал. «Жди!» Я шарахнулся в камору кастеляна и набрал там штук десять врачебных халатов. Монахи в основном по госпиталю в своих балахонах плавали. Халаты на койку бросил, команду: «Одевайся! Надевай все!» Он понял, пялит халаты друг на друга. Голову я ему шарфом замотал. Ну фриц и фриц, битва за Сталинград. Наволочку разодрал, тапки к щиколоткам лоскутьями примотал. Поднял большой палец. «Круче не бывает!» Он пытается смеяться, а сам еле стоит на ногах. Я огляделся. Собрал в палате со всех коек тряпки, посовал их внутрь одежды толстяка, в гачи, в рукава. Смастерил такую куклу толстую. Ну вроде как это он сам. Уложил на койку. Простыней накрыл. Вроде как спит. Или вроде как помер. Если издали поглядеть, нипочем не догадаешься, так этот муляж на человека похож получился.

Он на все эти манипуляции глядит ледяными глазами. Как псих глядит. И только губами шевелит. А голоса не слышать. Я ему шепчу: «Брат, я не знаю, кто ты и что ты сделал. Я должен тебя убить. Тебя мне заказали. Но я тебя не убью. Я тебя — украду!» Он глазами хлопает. «Как это?» — «А вот так! Сворюю!» Схватил его за толстую руку и потащил. Он в этих на себя наварченых белых халатах бе-

жит неуклюже, с ноги на ногу переваливается, ну снеговик и снеговик. Я оборачиваюсь и ему подмигиваю. Мы сквозь больничный парк пробрались, потом березовым подлеском долго шли, вышли наконец к дороге. Ноги в налипшей грязи. У толстяка вместо тапок — ошметки грязи. Вот как, говорю, тебя в лимузин сажать? Ты ж шоферу все попачкаешь. Он пытался смеяться. Кривил рот. Он на меня, бать, смотрел как на Бога.

Мы попутку остановили. Водила долго глядел на нас. Потом спросил: «Обое з шпитала психиатричного?» И добавил: «Два глупки!» Мы дружно закивали. Нам понравилась эта роль, двух психов. Беда была в чем? Водила мог нас в Варшаве запросто не на улице выбросить, а в дурку подбросить. Этого нам было никак не надо. Мы уселись в машину, и я важно сказал: «Он шизофреник, мой брат. Я его сопровождаю в Варшаву, к невесте». У такого дурня еще и невеста есть, присвистнул шофер. Да, кивнул я, такая же дурашка, как и он.

Нам удалось обвести водилу вокруг пальца. Толстяк, в отличие от меня, отлично говорил по-польски. Мы вышли из машинешки около Старого Мяста, поглядели друг на друга и с полчаса безумно хохотали. Аж булькали от хохота. Толстяк повел меня туда, где жил.

И я окунулся в другую жизнь; и удивительна она мне была.

Мой толстяк оказался шейхом.

Шейх, красивое слово, бать, я ни черта не понимал, кто это, но звучало красиво. Он был из России, это было мне ясно как день, но я всматривался в него и видел, что он сто процентов восточный мэн, а черт его знает, откуда, грузин, армянин, туркмен, таджик, а может, узбек, а может, татарин, а может быть все что угодно, я же не буду в его родословной копаться. Еврей? Чеченец? Турок? Песню томную, тягучую запел. Стал, толстый и грузный, двигаться плавно, грациозно; сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. При этом он сначала бормотал, потом выкрикивал непонятные слова. Вроде как заклинания. Его лицо, с тремя подбородками, налилось радостью. Он кружился по комнате, крутился вокруг своей оси. Взмахивал руками. На полках, на шкафах дрожали медные кувшины с узкими гор-

лышками. Я подпал под этот гипноз. Тоже стал кружиться с ним, ноги вверх подбрасывать. Рот в улыбке растянул. Торжество меня обуяло! И что-то такое, бать, мне стало открываться. В этом танце ритмичном, радостном и безумном, в этом кружении бесконечном, и вот-вот границу переступлю, и из себя вылечу, и поднимусь высоко, и полечу далеко! А мое дурацкое жалкое тело — пусть его на полу валяется в жалкой квартирке, в грязных каменных сотах, пусть мерзнет, умирает! Жалкое — не жалко! А мне — жарко!

Кручусь, кручусь, мы оба руки над головой поднимаем, вращаемся, дико веселимся, оба превращаемся в брызги радости, так оба счастливы, никогда я не был так счастлив! И тут вдруг толстяк мой резко встал, оборвал танец, как гнилую веревку, опустил руки, тяжело дышит, пот по лицу его и по шее льется, капает с тройного подбородка на рубаху, щеки лоснятся, пахнет от него, мокрого, как от зверя, и он тихо говорит мне: «Это я зикром великим Аллаха возблагодарил за мое чудесное освобождение». Я спрашиваю: чем, чем каким еще зикром? Толстяк усмехается: а это вот такая молитва священная, которую — танцуют! Молят Богу танцем!

Опять Богу, думаю, ну, попался я, всюду Бог, везде Бог, а когда же наконец человек? Толстяк накормил меня фаршированным перцем, сам ел мандарины, колупал и ел, вбрасывал себе в пасть, как горох. Говорит: за мной охота, нам надо быстро убежать, ты с паспортом? Да, говорю, а бежать-то куда? В Россию? Ха, выдохнул, если бы можно было вернуться! нет, нельзя мне возвращаться. Там мне сразу решетка грозит. Польша, парень, это почти Россия. Да Россия, парень, она теперь везде. Везде! Думаешь, она дремлет, Россия? Она научилась протягивать длинные руки. Давно, брат, научилась! Мне надо бежать туда, где мое счастье. Где моя жизнь. Побежишь со мной?

И смотрит. И глаза такие у него круглые, черные, и сияют, и в них светится то, что я не видел никогда.

И, может, уже не увижу.

Он глядит так, а я, под взглядом этим, голову наклоняю и говорю: да, брат, я с тобой поеду. Вещей у меня с собой — только паспорт да

деньги, их мне за то, чтобы я убил тебя, заплатили. На, возьми! Вытаскиваю из-за пазухи деньги того монаха. Кладу на стол перед толстяком. А он мне: бред какой, не нужны мне они, если они такие грязные, выбрось их. Они никому счастья не принесут! И сгреб их со стола, и распахнул окно, обе створки, и швырнул деньги, заплаченные за себя, убитого, из окна на снег.

Как, спрашиваешь, его звали? Батя, да зачем тебе нужно знать все эти имена? Мансур его звали. А дальше очень сложно. Там дальше пять или даже десять имен, язык сломаешь и мозги. Я не хотел ломать. Мансур, красиво, и баста. Он родился в Душанбе, а вырос в Воркуте. Туда сослала мать. Потом его ветром бросило в Питер. Потом в Москву. А куда мы полетим, Мансур? В Ливию. А Ливия это где? В Африке. Ого, в Африке! А в город-то какой полетим? В Триполи. А потом поедем ко мне в резиденцию. В Сирт. Что такое резиденция? Ну, домой, брат. Домой.

Я позавидовал ему. У него был дом.

Но, бать, мне тогда нравилось, что у меня дома нет, что я ни к чему не привязан; мне нравилось скитаться; жизнь сама все решала за меня, и это мне тоже нравилось.

Африка, Африка, солнечная Африка! В Африке акулы, в Африке гориллы... в Африке большие злые крокодилы... Я так понимал: толстяк богат. Я при нем — слуга и бедняк. Надо было приклеиться к богачу. Мысленно я уже потирал руки. Я ли не сообразительный? Я шустрый. Подсучусь где надо. Но пока не надо торопиться. Торопиться никогда не надо. Только тогда, когда тебе грозит смерть.

И то тут тоже есть выбор: бежать от нее или пойти навстречу ей.

Многие, кстати, кто навстречу ей шел, у нее — выигрывали.

Зачем люди, батя, живут в городах? Пустыня, песок, а вот море, насквозь соленое, и можно утонуть. И люди разделены на богатых и бедных. Хотя все притворяются, что все поделено справедливо. Землю никогда не поделишь как надо. И жизнь — не поделишь. Всеобщая только смерть; это общее богатство. Шейх привез меня к себе в дом. Дом у него — батя!.. Умопомраченье. Круглый бассейн, огромный, как ста-

дион. И все дно выложено цветными камешками. Узор я запомнил. В польской больничке свастика красовалась, а тут громадный дельфин, величиной с баллистическую ракету, и на нем голая баба стоит. Таких голых баб я на холстах рисовал, ну не я, прости, Славка покойный. А больше всего меня поразили в доме — книжные шкафы: необъятных размеров полки, как вагонные, спать улечься можно, и книги на них — тоже чудовищные, гигантские, как для великанов; и у всех этих толстенных книг корешки позолоченные. Какая-то, бать, просто инопланетная библиотека! Для трехметровых пришельцев! Шейх нежно корешки золотые гладит. Как моя паненка — горносталя. Вспомнил я паненку и запечалился. Шейх меня развлекал. От грусти отвлекал. Кормил как на убой. Бать, на Востоке, я так понял, круто едят, гораздо круче, чем у нас. Мы наклоняемся над громадным, как золотое озеро, блюдом, оно все в орнаментах, такое в пору в музей, а они жрут с него, пальцы в масляный рис макают. Руками ели. У шейха четыре жены, все по правилам ихним. Все на мордаху ничего, сносные, даже старые, в смысле старшие. А одна, самая молоденькая, девчонка совсем, все подносила мне кушанья. Я съем, она еще несет. Я отказываюсь, головой трясусь. Она мне по-восточному что-то мелко, мелко сыплет и зубки показывает, как крысенок. Я на Мансура гляжу: переводи! Он смеется, толстое лицо ладонью отирает: у нас от угощения не отказываются. Откажешься — значит, дурно приготовлено. Позор хозяйке! Я ел, чтобы избавить девчонку от позора. А она глядела мне в рот. Как-то раз обернулась, грязные тарелки и подносы на кухню уносила — и так поглядела странно — и я в ней увидел ту. Ну, ту ночную елку. Танцующую на морозе, в ночи. Вспомнил, и как током меня шурануло.

Жены, дети, дом большой, уклад в доме тишайший, никаких тебе криков-воплей, все чинно ходят, голос повысвить боятся. Шейха боятся? Или сами себя? Жарко там, в Ливии. Жара дикая! Я задыхался. Чувствовал себя рыбой, вытасненной на песок. Однажды мне приснился, жаркой ночью, кошмар: меня всего изрезали ножами, истыкали штыками и в раны мне песок сыплот. Я не рассказал об

этом сне шейху. А вот он рассказывал мне разные разности. Я, пока жил у него в этом его богатом доме, много чего интересного узнал. Жены женами, дети детьми, а шейх-то, как выяснилось, занимался тайными книгами. Они и были его самолучшие жены. Однажды после сытного обеда он меня пальцем поманил: идем, мол, я тебе что покажу! Мы спустились в подвал. Обнаружилось, что у него в доме подвалы с целый подземный город. Так глубоко земля разрыта, и апартаменты будь здоров, дворец Аладдина. Стены обложены мрамором, подсветка, и тепло, топят, что ли? И опять шкафы; и книги, книги. Он обводит их рукой и говорит мне: вот, друг, это небесная библиотека. Ты спас мне жизнь. Я посвящу тебя в смерть. Я оторопел. Спрашиваю его: это как? Как это — в смерть? Я что, умирать собрался? Он хотел улыбнуться, уже затряслись три его подбородка, но не улыбнулся. «Нет. Ты не собрался. Просто, пока ты живешь, ты должен научиться умирать». Тут заржал я. Как это, хохочу, как научиться, да разве мне пригодится эта наука, да просто смерть придет, когда ей угодно, и — возьмет меня! Тут и учиться ничему не надо! Он глядит молча. Круглые блестящие, как антрацитовые, глаза на толстом лице. Одышка, пот. Лишний вес, трудно ему себя таскать. Вот он может очокуриться в любой момент. И тихо говорит мне, хрипит: «Не тут-то было, парень. Я тоже так думал. Но у меня был учитель. Хороший учитель. Здесь, в Ливии. Он тоже был шейх. Он передал мне свое искусство. А теперь я научу тебя. Если бы люди, все, знали все про этот переход, они бы поняли: смерть — это самое важное, что у человека есть на земле. Важнее этого события ничего нет. Вся жизнь меркнет перед ним». Я дергаю плечами: что, такое уж впечатляющее? Беда в том, что нам эти впечатления незачем уже будет помнить! И — нечем! Он буравит меня глазами. Подбородки холодцом трясутся. «Нет, — говорит, — будет чем помнить. И так крепко будем помнить, если будем правильно умирать, что целиком превратимся в эту память». Я гляжу на него, и хочется мне воскликнуть: сумасшедший ты, друг! Он это почувствовал. Ну, что я так крикнуть хочу. Лицо свое потное, толстое ко мне приблизил. И прошептал: «Ты

сам увидишь, кто из нас сумасшедший». Меня аж пот прошиб. Он мои мысли прочитал.

Подошел к шкафу, долго бегал пальцами-сосисками по золоченым, кожаным, коричневым, изъеденным жучками корешкам. Вытянул увесистую книгу. Фолиант в кожаном переплете, буквы золотом оттиснуты; арабская вязь. Я смеюсь: друг, я ж тут ни бельмеса не пойму! Он мне: я сам буду тебе переводить. Арабский он знал как родной. Если отвлечься от всего и просто слушать арабскую речь, она красивая, как музыка.

Музыка, музыка. Этот урок смерти, ну, чтобы умирать по науке, выглядел так: шейх мне читал сперва арабский текст, потом, чуть спотыкаясь, переводил его на русский. Я сначала не особенно слушал. Не хотел. Молча над этим потешался. Мало ли сказочек на свете! А потом втянулся. Стал прислушиваться. Потом закрыл глаза. Голос Мансура вливался в меня, проникал и заполнял меня целиком. Это было вроде как опьянение. Так напьешься хорошего вина, или коньяком накачаешься, и сидишь дремлешь, и видения видишь. Хорошие или плохие, это уже неважно.

Я кое-что запомнил из того духовного коньяка. «Ты должен отрешиться от мирского и глубоко дышать; воображать, что ты медленно танцуешь и поднимаешь руки. Тебе под ноги ляжет дорога воздуха, ты не должен бояться, что упадешь с нее или провалишься сквозь нее; ступай по ней и ничего не бойся. Произнесение молитвы укрепит тебя. Помни, что любая боль человека есть лишь воспоминание о боли. Ты не должен поддаваться воспоминаниям. Их для тебя уже не существует. Ты идешь один, голый и спокойный, ты оставил все позади себя. Тебе все равно, пытаются тебя или восхваляют, ублажают или бичуют. Ты в мире, и ты одновременно вне мира. Презирай мирское. Небо становится прозрачным для тебя. Но ты проницаешь его не глазами. Ты должен измерить его не шагами. Тебе надлежит глубоко дышать и мерно, постоянно произносить молитву. Еще лучше, если ты ее будешь петь».

Петь! Тут я вздрогнул. Очнулся от балдежа. Петь, вот это здорово! А если я не певец? Не Карузо? Как это петь, промямлил я, чего ради это я буду при смерти петь? А Мансур знай

свое гудит, в книгу глядит: «Если ты все будешь правильно делать, ты станешь одним из ангелов Великого Павлина. Если ты не все будешь правильно делать, ты обрушишься обратно в мученья, и тогда ты задохнешься от боли, что казнью вернется к тебе». А про ихнего Аллаха в этом толстенном томе — ни слова. Ну, думаю, секта арабская какая-нибудь. И Мансур не шейх, а сектант. А какая разница? Все мы сектанты. Люди объединяются в группы. Группа — это уже секта. Ее члены свято верят в то, о чем талдычит ее вождь. Гуси, и те послушно идут за вожаком. А человек и подавно; человеку нужна мощная власть и твердая рука, чтобы он был спокоен, доволен и беспечен. Все сделают за него! А он только будет работать от и до. Как машина.

Пока шейх гундосил мне святые псалмы из этой магрибской книжки, я понял, почему я стал воровать. Мне не хотелось себя — под власть отдавать! Ни под какую! Ни под родительскую, ни под земную! Я понимал: меня запрягают в телегу, и должен буду ее тащить, а я не хочу! Мое воровство — это была моя война. Моя личная война. Власть, любая, была моим личным врагом. Там, в этом падишахском роскошном подвале, у этого упитанного шейха Мансура я вдруг все это так четко понял, будто сам свой скелет в зеркале увидел. Будто сам себя рентгеном просветил насквозь. И увидел: да смертный я, смертный, как все. Никакой не Бог. Мясо, оно, мертвое, распадется в одно мгновенье, и кости внутри. И все.

И до того мне, батя, больно и горько стало от этого, что я вскочил с мягкого царского кресла и как заору: да ты, ты, Мансур, что мне чепухню впариваешь! я не малыш, не маменькин сынок! я нюхал жизнь! и смерть, между прочим, тоже нюхал! я — к пожизненному был приговорен! и чудом спасся! А ты мне: молись, и это укрепит тебя! Да меня укрепит только сознание того, что я — живу! Я живу, я краду жизнь каждый день! Она — моя! Даже если чужая! А ты пытаешься мне доказать, что наилучшая жизнь — это смерть! Тьфу! Я плюю на твои божественные тайны! Я не хочу умирать! Пока я живу — я не хочу умирать! И я — не умру! Нет! Не умру!

Так я орал и даже слюной брызгал, как с це-

пи сорвался. Все выкричал в лицо толстяку, всю свою боль, все одиночество, что за все эти годы у меня в душе накопилось. Шейх сидел спокойно. У него на коленях лежала эта толстая тайная книга, как голая, без шерсти, кошка. У них там, на Востоке, модные очень такие голые кошки: сфинксы называются. Он гладил книгу. Как живую. Как кошку. Книга, изделие рук человека. Бать, я их мало читал, книг. Но все же приходилось. Они меня забавляли. Я ничего в них не понимал и прикидывался, что мне интересно; а если все понимал, мне зевать хотелось от скуки. Шейх помолчал, послушал, как я кричу, и, когда я замолчал, он раскрыл страницу и прочел мне только одну, последнюю истину: «Если хочешь умереть без мучений — умри для мучений. Смерть стоит того, чтобы жить, а жизнь стоит того, чтобы умереть».

И захлопнул книгу.

Будто тюремную дверь за мной защелкнул.

И запер железный замок.

Урок легкой смерти не удался. Я оказался плохим учеником. Я понял: шейхом я никогда не стану. И Мансур это понял. Он хлопнул в ладоши. Этот хлопок услышала его быстроногая юная жена, прибежала, глазки горят, шелковые шаровары развеваются. Старые жены ходили в юбках, а две молоденькие — в широких этих, из нежной ткани, забавных штанах. У девчонки, четвертой жены, шаровары эти были расшиты золотой ниткой. Я разглядел вышивку. Павлин! Шейх мне бормотал про Великого Павлина. Может, божество какое? Я не знал, да и знать не хотелось. Хотелось есть. Раскормили меня там. Девчонка живенько несла на вытянутых ручонках поднос, на нем стояли три больших казана, доверху полных жратвой. Поставила поднос на стол. Шейх потер толстые ладони. Девчонка что-то говорила, указывая на казаны, сбивчиво и весело. «Это кушанье кус-кус, — пояснял толстяк и тоже тыкал пальцем в латунные котлы, — здесь мясо семи сортов, самое разное: и говядина, и курятина, и конина, и баранина, — оно тушенное в собственном соку; здесь рис, видишь, как разварен, длинненький такой, хороших сортов, а желтый такой потому, что в него, когда варят, сыплют куркуму; а это, — показы-

вал на последний казан, — овощи, тоже тушеные, они очень мягкие, и мои жены кладут в них очень много перцев разных сортов: белый, черный, красный, — гляди, тут горох в стручках, фасоль, чеснок, морковь, сельдерей, спаржа, да много всего! И знаешь, как арабы едят кус-кус? Как едят его туареги в пустыне?» Я помотал головой. Шейх пододвинул к себе пустую тарелку и руками наложил в тарелку политый маслом рис. Юная женка ловко извернулась, зачерпнула половником мяса из казана и положила сверху рисовой горки. А потом утопила половник в овощах, выловила их и полила ими этот натюрморт. Пахло просто черт знает как. Я опять пьянел. Я там, в Сирте этом, все время пьянел! Девчонка, молча смеясь, положила мне в тарелку всего того же, по очереди: рис, мясо, овощи, — и толкнула тарелку ко мне по скользкому столу. Я не поймал ее. Тарелка упала на пол и разбилась. И вся еда, вперемешку с осколками фарфора, валялась, цветная и красивая, и так вкусно пахнущая, у меня под ногами.

Я чуть не заплакал. Девочка скорбно сложила ротик и что-то печальное, гортанное крикнула. Шейх пожал плечами. «Брось, — махнул он жирной рукой, — не огорчайся! Она сейчас уберет!» Прибежали другие жены, бабье царство быстро справилось с несчастьем. В одну минуту все подмели, вымыли, опять все сияет, и опять блюдо с кус-кусом стоит передо мной. Но теперь уже озорная девчонка не швырялась тарелкой по столу. «Она говорит, — пробормотал с набитым ртом Мансур, — что это она виновата. Она просит у тебя прощенья».

Она? У меня? Я поднял голову от пустынного блюда. Наши глаза схлестнулись. Я разжал рот и тихо сказал бедной девочке: «Прости меня».

Кус-кус, люмба, мафрум, чирши! Култ еды, а ведь чревоугодие, по-нашему, по Христу, смертный грех! Кухня кухней, а я пытался догадаться, чем мой шейх занимается. Войной? Слишком мирен с виду, слишком много книг, живет, как в клетке из книг. Бизнесом? Никуда не спешит. А между тем этот дворец, и этот бассейн, и этот подвал, книгами и драгоценностями битком набитый, и три машины в саду, ведь все это немаленьких денег стоило, и

откуда-то надо было их добыть. Я скоро бросил об этом думать. Мне жилось у шейха хорошо. И я понимал: эта жизнь не вечна. Что-то случится!

И случилось.

Батя, держись крепче за что-нибудь твердое, за стол, за стул. Случилось такое, о чем я и подумать не мог. И вообще никто на земле подумать не мог.

Бать, мы все умираем. Ну, каждый человек, все. Люди, звери. Птички, рыбки. Мошки. И умирает то, что гораздо больше людей. Их страна. Их владыки! Нет проблем. Владык свергают и убивают. У матросов нет вопросов. А земля, батя, земля тоже умрет? Вся земля? Не вопрос, и она может сыграть в ящик. Почему нет? Если все и всё — да?

Это я к чему тебе? А к тому, что страна Ливия внезапно приказала долго жить. В таком виде, в каком я ее застал. Навалились на ихнего владыку. Смерть диктатору, вопят! А мы тут рядом, в Сирте. И тиран ихний в Сирте. Мансур подобрался, как зверь. Даже и жир на нем вроде поубавился. Рожа осунулась. Жены бегают по дому как сумасшедшие. Тарелки, миски у них из рук валятся. Не до кус-куса. Самая юная женка подбежала ко мне. На меня круглыми глазами глядит. И так сильно жестикулирует, руками у себя перед лицом машет, машет! А я ни словечка не пойму. Арабский для меня — темный лес. По-польски я еще соображал. Я через головы этих жен, в платки закутанные, на голый лоб Мансура смотрю, глазами кричу: помощи! Он подошел. К уху моему наклонился. Перевел, отчетливо и зло: «Дина говорит, чтобы ты оставался здесь, дома. Что будет много смертей. Что мы все... все...» Я видел, как ему трудно было это выговорить. «Погибнем!» Почему это она так думает, буркнул я, на нас же никто не сбросит атомную бомбу. Прорвемся!

Короче, я поехал в город с Мансуром. Жены высыпали на улицу нас провожать. В руках младшая жена Дина держала винтовку. Еще пять винтовок и пять автоматов стояли у стены в гостиной. Я так понял, тут все умели стрелять. И еще я заметил ящик. Он доверху был полон связками гранат. Такие дела. Все верно. На смерть надо отвечать только смертью.

Мы мчались по чужим улицам чужой страны.

Я украл себе в ней кус покоя. Кус-кус. И вот вспыхнула и загорелась смерть, и ее дикое черное пламя высоко поднялось, облизало всего меня, как дикая собака. Мы мчались, воняло бензином, и я почему-то чувствовал себя потным конем, я скакал, опережал машину, в ноздри мне лез запах крови. Я видел на улицах убитых людей. Всюду лежали убитые. Истыканные штыками. Усатого чернявого мужика посадили на кол. Острые кола вылезало у него над лопатками. Он еще был жив, ворочал во рту искусанным языком. Убитые люди грудой тел лежали у смолкшего пулемета. По трупам медленно шла босая женщина. Без этого их вечного платка. С голой головой. Она, как слепая, подошла к пулемету, легла на живот и стала стрелять. Огонь полосовал жаркий воздух. Это был октябрь, да, осень, как сейчас помню. Женщина стреляла непрерывно, и я боялся, что ствол быстро перегреется. Мы ехали дальше, Мансур не сбавлял скорость, и я спросил его: друг, куда мы едем? Он не сразу ответил, рулил. Потом повернул ко мне лицо. Оно было страшнее черепа. Я не видел кожи, мяса. Я опять видел смертную кость. «Спасти моего друга мы едем». А кто этот твой друг, спросил я, и уже знал ответ. «Муаммар», — сказал шейх утробным голосом, будто его сажали на кол.

Воздух нагревался от выстрелов и криков. Земля раскалялась. Мы мчались изо всех сил, но мы опоздали. Шейх резко остановил машину, мы выпрыгнули из нее и тут же увидели: его ведут. Я теперь понял, почему шейх был такой богатый. Хороший у него был друг, мощный. Люди со всех сторон бежали к пяточке земли, его заливало солнце, и на этом пяточке стоял седой, кудрявый, усатый мужик с квадратным лицом-ящиком, с грубым властным ртом и тяжелой, как у борца, челюстью; его крепко держали, то безжалостно дергая за руки, то нарочно выламывая их, люди вокруг бешено палили из винтовок в воздух, в небо, мне казалось, они хотели подстрелить солнце. Все вопили, надрывали глотки: «Аллаху акбар!» Вдруг груболицый курчавый заорал и согнулся кочергой. Пуля угодила ему в живот. Кровь лилась у него по животу, промокла его рубаха, штаны намокли красным. Люди столпились вокруг него, взялись за руки. Пыта-

лись сделать так, чтобы толпа его не затоптала! Шейх глядел на все это. По его лицу полз пот. Кожа, несмотря на жару, отсвечивала синим — мокрым холодом. Он мелко, по-собачьи дрожал. «Это все, Марк, это все», — выдавил он, и я понял: и правда, это все.

Раненых много моталось и в толпе. Люди напирали. Иные, обессилев от потери крови, валялись под ноги тем, кто шагал вперед, к седому лохматому мужику. Я видел: они хотели его растерзать. Потом мужика ударами погнали вперед. Все лицо его было залито кровью. Его держали за руки, тянули его руки в стороны. Били по спине. Подкатились малорослые людишки; я всмотрелся и понял — дети. Дети стали резать руки, спину, ноги кудрявого мужика ножами. Вся его одежда вымокла в крови. Он кричал громко, но я стоял далеко и не слышал его голоса; потом до меня донеслись его крики: «Харам! Харам!» Губы Мансура шевелились в такт им. Он увидел, что я гляжу на его губы. Возвысил голос. «Он проклинает их», — белыми губами сказал шейх, и его бледные щеки затряслись холодцом на жаре. Он плакал без слез. Я такое видел впервые.

Бать, я много чего в жизни видел в первый раз. В первый, а как потом выяснялось, и в последний. Не дай бог тебе видеть то, что я тогда видел! Кудрявого седого мужика пнули в зад, он наклонился, и человек, что шел вслед за ним, размахнулся и воткнул ему в зад то ли нож, то ли штык, я не разобрал. Мансур закусил губу и прокусил ее. По трем его подбородкам ползла кровь, и кровь расплзлась по штанам седого мужика. Друг видел, как его друга и покровителя принародно мучат. Штык похабно двигался, солдат безнаказанно насиловал своего полковника. А полковник жалко, страшно сгибался перед солдатом. Все поменялось местами. Я глядел и сознавал: так все в мире! Все в мире человек может поменять местами! Белое сделать черным, а черное — белым. На ложь сказать, что это святая правда, а чистую правду затоптать и прокричать всем: ребята, не верьте, это дикая, грязная ложь! И я понял: я в жизни этим же занимался. Я, вор, только это в жизни и делал: менял все местами! Крал и говорил: это у меня украли! Воровал и кричал на весь свет: меня обидели, сделали

мне больно, изнасиловали, замучили, ловите вора, накажите вора, это он, он вор! Он, а не я! Вот человек, он правил, царил, делал жизнь своей родины лучше и счастливее. А его лупят по лицу и спине, и режут ножами, и прилюдно, позорно истязают штыком. И он идет! Послушный, как баран! Он и есть баран! И сейчас его заколют! Только что не изжарят! А так — разницы нет!

Седого мужика, лохмы в крови, довели до пикапа. Он качался. Под ногами у него расплывалась кровь. Кровь лилась по изрезанному телу. Он все повторял, теперь уже беззвучно, губами, я видел: «Харам, харам». Его схватили и подняли на руки. Будто хотели увенчать, как триумфатора. Я зажмурился. Открыл глаза. Мой шейх беспомощно, детскими круглыми глазами глядел на меня. Мужика посадили на капот пикапа, он судорожно вцеплялся в капот. Не удержался, скатился с него. Шлепнулся наземь. Валялся на земле как раздавленный. Будто по нему проехал танк и раздавил его гусеницами. Уже не человек, мясо. Я представлял, как ему хотелось быстрее умереть. А вокруг кричали, выкрикивали одно слово, я все равно не понимал. Шейх мертвым ртом проронил: «Они требуют не сразу его убивать. Помучить. Помучить подольше». Ненависть, она правит миром. Батя, только она! Никакая не любовь! Любовь — это сказки для детишек. Ненависть — вот что толкает людей вперед. Ненависть и зависть. Зависть, да! К тому, что тот, другой, живет лучше. Что он талантливее. Что его замечают, а тебя нет. Что он богаче? Да нет! Плевать на это богатство! Любые деньги можно заработать! Или украсть, вот как я крал! А зависть к тому, что он — сильнее. Сильнее, чище тебя. Что в жизни, в мире он может и делает больше, чем ты, слабак. И подавай не подавай ему руку — не примет он ее! Проси не проси он у тебя, слабака, прощения за то, что он сильнее, — не примешь ты этого прощения! Не нужно оно тебе! Потому что ты его ненавидишь. И будешь ненавидеть до скончания дней своих!

И, ненавидя его, умирая от зависти и ненависти, ты всю жизнь будешь ему, сильному, — мстить. Пока не уничтожишь! Не сотрешь в порошок!

Пока, вот как сейчас, как мужика этого седога, в грязи и крови, несчастного, могучего правителя, а обзывают его тираном и дрянью последней, — не убьешь.

Раздались бешеные гудки. Подъехала машина с красным крестом. Шейх затряс губой и прошептал: «Друг, я ничего не могу сделать. Ничего». И тут скрючился, и лицо в толстые руки упрятал. И так стоял. А я обнимал его за толстые потные плечи. А вокруг все вопили на этом их заковыристом языке, я-то неспособный к языкам, я в школе еле-еле английский осиливал, да так и не осилил, — какой уж мне арабский. Мужика, всего в крови, стали заталкивать в скорую помощь. Вдруг мой шейх как ринется вперед! И прорвал людской заслон, и — к нему. Пляшет вокруг повстанцев отчаянно. По-арабски кричит. На мужика указывает. Шейха толкают в грудь. Он отшатывается и чуть не падает. А я стою за целой стеной людей. Все орут, стреляют. Мужика уталкивают в машину, и шейх глядит на него, глядит, как хлопает дверца, на кровь на асфальте. На то, как вырывает из толпы скорая помощь, уезжает. На выхлопные газы, их жаркое марево. Шейх медленно повернулся, растолкал локтями людей, ничтожный мусор, и подошел ко мне. Я стоял столбом. Меня все это пришибло, честно. Он обнял меня и повис на мне всем телом, грузным, жутко тяжелым. Я еле выстоял. Поддерживал его, и у меня было чувство, что я поднимаю штангу. Он выдохнул мне в ухо, как пьяный: «Все, он там уже умер, умер, Муаммар». У меня рубаха враз вымокла от его слез. Он плакал не стыдясь, и теперь уже настоящими слезами. И слюну пускал, как младенец, от горя, и даже волком подвывал.

После такого, чему мы оказались свидетелями, не грех и террористом стать. Что такое убийство? Когда человек мстит человеку. Мсть бессмертна. Ты меня обидел — я обижу тебя. Только вдвое больше. Так обижу тебя, щенка паршивого, так отделаю, век не забудешь! А имя мое — век будешь помнить! Никогда не забудешь! А я тебя, дрянь такую, забуду! И губы мои никогда больше имя твое не вылепят! А еще лучше, знаешь-ка, я тебя убью. Так вернее будет!

Мы все вопим: «Терроризм! Терроризм!» А

может, бать, терроризм просто-напросто мсть. Одного народа другому! Так все просто. Ты плюнул мне в лицо — я тебя убью! Ты обзвал меня вонючим арабом — я тебя убью! Обзвал Бога моего расписной куклой — так я же убью тебя за Бога своего! И костей не найдут! И не только твоих, но и твоего народа! Всем вам каюк!

Вот это и есть мсть, баты. Война — это тоже мсть. У тебя страна лучше, я хочу ее завоевать. Я отомщу тебе только за то, что твоя земля богаче, и фрукты на ней у тебя растут слаше, и бабы твои красивее, и народ твой веселее; а я всем развоню, что народ твой глупый и грязный, бабы твои уродки, овощи-фрукты у тебя гниль одна, у зверей чесотка и парша, птицыдохнут на лету, а земля твоя — оглодыш сухой, высосанная кость, никому не нужная, и даже Богу твоему. И пойду на тебя войной! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать! Помнишь такую басню? Я в школе учил.

Может, шейх мой и был террористом. Я об этом не знал. И не хотел дознаваться. Я же не сыщик. Мне это было до лампочки. Продавать оружие или убивать людей — такое же прибыльное дело, как любое другое. Зарабатывай деньги чем хочешь, это твоя личная жизнь, в нее нельзя соваться. Да поссорился я с Мансуром, крепко поссорился; нет, не из-за денег. Хотя я поневоле стал о деньгах задумываться: о его, о своих. Я ел-пил у него, это стало мне не особо нравиться. Сказал я ему об этом. О том, что не хочу быть нахлебником; ты меня, говорю, либо в Москву отправляй и прощайся со мной, либо запрягай меня в работу здесь. А государство рушилось. Осыпалось, как руина под ветром! Обломки под ногами хрустели. Повстанцы взяли власть, а что делать с ней, не знали. Запад знал, Америка. О, они очень хорошо все знали. Командовали. Толстяк мой то и дело уезжал из дома куда-то. По делам. Я оставался с женами. Все четыре бабы хорошо за мной ухаживали. Я себя ощущал шахом. Шах и мат! Мат мне шейх поставил. И быстро, вмиг, — я и оглянуться не успел.

Он меня не успел запрячь ни в какое свое тайное дело.

Он меня просто приревновал. К своей младшей жене.

Юная женка, последняя, самая молоденькая, приготовила мне кус-кус и кормила меня, как зверя, с ладошки. Зачем ей была эта игра? А я, дурак, повелся. Мне хотелось ощутить губами мягкость девичьей тонкой лапки. Она брала в ладонь рис и мясо и протягивала мне, и я наклонялся, рычал, изображая дикого зверя, но смиренно ел и ладошку вылизывал. А она хохотала тихонько: ей было шекотно. Тень возникла за стеклянными дверями. Я вздрогнул и отнял от ее рта ладонь. Украдкой вытер о штаны. Потом кулаком вытер рот. Удар! Стекло посыпалось на пол. Створки резко распахнулись: толстяк пнул их изо всех сил. Он шагал широко, шагами измерил всю огромную гостиную и застыл возле низкого стола, где стояли казаны с кус-кусом и лежали на большом расписном блюде восточные сладости: нуга, финики, пахлава, шербет, лепешки с изюмом и медом, халва, инжир. Он недолго думал. Схватил блюдо со сладостями и высыпал их мне на голову. И дико завопил по-русски: «Жри!» Я сидел, облепленный липкой халвой, инжирины и финики торчали у меня в волосах. Юная жена, озорница, не убежала. Покорно ждала казни? Не тут-то было. Она стояла перед ним, толстым и страшным, маленькая, тоненькая, и в глазах ее горела ненависть. Столько ненависти, что она, как нефть, должна была сейчас взорваться огненным фонтаном и вылиться из скважины. Изнутри. «Гадина!» — надсадно проорал шейх. Потом добавил, видать, это же по-арабски. Девочка-жена неподражаемо передернула плечами. И на ломаном русском, как пустынная змея, прошипела ему: «Ти урот, ти звер, я тибя ненавижит». И повернулась, и пошла, и переступила через стеклянные осколки, босая, и стекляшки ей в ступни впивались, и из ступней текла кровь на паркет, а она шла, шла по коридору, уходила. И штаны эти ее смешные, шаровары эти прозрачные, развевались вокруг тонких обалденных ножек.

Она ушла, а мы посмотрели друг на друга. Уж лучше бы не смотрели.

У шейха сделались абсолютно военные глаза. Такие глаза должны быть у солдата-смертника. У камикадзе перед боем, у самурая перед характером. Я понял: сейчас он меня убьет. За что? За то, что я с его женой играл, как дитя, в зверя и

его хозяйку? Я забыл: у хозяйки другой зверь. И он чужих зверей рядом с собой не потерпит. Я встал в боевую позу. В «Полярной чайке» я ни с кем не дрался; если там подраться, можно заработать три пожизненных. Но вот когда я на северах работал, на железной дороге, — там я дрался. И очень даже дрался. Мужик без драки не живет. Ни вор, ни честный. Я сказал себе: дерись, Марк, сколько хватит сил. И ловкости. Драться — это тоже красть. Ты у противника воруюешь всякий раз, в каждый его выпад, его силу и ловкость. Удар! Еще удар! Это же счастье — своровать у него удар. Он не нанесет его! Ты — его — присвоил! Ты у него — удачу, фарт позаимствовал! Оп! Еще! Ну, вот так! А теперь зайди слева. Ну зайди, ну что тебе стоит!

Мы дрались не на жизнь, а на смерть. На кону стояла смерть, и это было обоим понятно. Я сразу перестал быть другом. Тем, кто спас ему жизнь. Теперь моя жизнь была ему не нужна. Он хотел ее отнять. Своровать. Ах ты, несчастный! Ты же не учен воровству. Надо, чтобы умело своровать, школу жизни пройти. А если у тебя опыта нет — не суйся лучше!

Я бил точно, но кулак тонул в жирном теле, увязал, как в тине. У меня было чувство, что я кулак вынимаю из прошлогоднего меда. Шейх разворачивался. Он реагировал медленнее. Но бил гораздо тяжелее. У нас были разные весовые категории. Так, как с ним, я еще не дрался ни с кем. Те драки были детским садом. Эта — настоящая. Война. Кто победит, тот будет жить.

Мы были вдвоем в гостинной, засыпанной мелким колотым стеклом. Крупные стеклянные осколки блестящими рыбами скользили, бросались нам под ноги, как живые. Мы отшвыривали их ногами. В отличие от Дины, мы были обуты. Шейх — в кроссовках, я — в легких сланцах. Сланцы слетели. Я дрался босой. Стекла впивались в ступни. Я не чувствовал боли. Паркет в крови. Но я же не Муаммар, я так просто не дам себя свергнуть.

Я уже выбирал у толстяка на лице место для удара. В лоб? В глаз? Почему-то вообразил вязальную спицу и как я ему глаз протыкаю, это значит, и мозг. Послать бы его в нокаут! Как, такую тушу? Невозможно! Но, батя, ты знаешь, в бою не на жизнь, а на смерть приходит

решение. Единственное. Я выждал, пока он, отдуваясь, нагнется, чтобы ударить меня снизу в подбородок, и напрыгнул на него, как зверь. Не знаю, что это был за прием, и вообще названий всех этих приемов не знаю, я же не боксер и не каратист. Я обнял его обеими ногами, а обе руки закинул ему за жирную шею, в захват, и так сильно сжал их, сцепил, и у меня под руками что-то хрустнуло, хрустнула кость, это я сломал ему кость, ну, позвонок шейный. Он враз обмяк подо мной, постоял еще немного, я сидел на нем верхом, он покачался, качнулся раз, другой и свалился на пол горой мяса, — и я вместе с ним. И он меня собой придавил. И закатил глаза.

Я выполз из-под него. Он не подавал признаков жизни.

Вот чудеса! Сначала я спас его от смерти. А потом подарил ему смерть.

А может, он еще жив?

Чёртова жизнь, эти ее весы! Качнутся вправо, качнутся влево! Ерунда какая! Жив, мертв! Все мы люди, все мы человеки! Сегодня живы, завтра мертвы. Причем все. Кому завидовать? И чему? Просто этот ушел на тот свет раньше, чем ты; только и всего. И, по идее, это ты должен ему завидовать: отмучился.

Чёрт, чёрт, а может, жив он еще...

Я встал, сначала на четвереньки, как обезьяна. Потом выпрямился. Вот только теперь я понял, как выдохся. Еще немного, и это я бы валялся тут вот так, глаза закатив, а не он. Мне повезло. Мне так часто везло! Черт знает как мне везло, бать. Ноги все в крови, исколоты стеклянной крошкой. Шейх лежит, не шевелится. Я над ним глупо стою, качаюсь. И тут в разбитых дверях появляется эта. Девчонка, женка его последняя. Дина. Уже в туфельках, ноги перебинтованы. Осторожно подходит ко мне. Берет меня за руку. У меня кулаки страшно вспухли, мои кулаки — на детские головы похожи стали, так сильно я бил толстяка. Своего друга, Мансура. Бил и убил. Дина берет мой громадный распухший кулак в обе свои руки, гладит, нянчит, к груди подносит и себе на грудь кладет. И целует. И на ломаном русском шепчет мне: «Марко, мы надо бежать! Бежать быстро! Скоро бежать!» И жестом показывает, пальцами перебирает, будто ноги бегут.

Я кивнул. «Где другие жены?» — «Они там. На кухню. Кушать». Махнула рукой. Какое счастье, что она как угодно, но говорила по-русски. Она обмыла меня от крови и перевязала мне раны. Она все делала очень быстро. Мы понимали: явятся старшие жены, и мы уже не убежим. Любая из них может вызвать полицию, врачей, со мной разбираться долго не будут, сразу к стенке — и все: я видел, как здесь, в Африке, просто убить человека. Да, его везде просто убить! Но на Востоке по-иному к смерти относятся. Там она к человеку проще и ближе. И страшнее, да.

Дина одела меня, как ребенка. И у нее было лицо ребенка. Мы, двое, были дети, попавшие в переделку. Нас могли наказать в любой момент. И мы должны были скрыться. Спрятаться! Чтобы нас никто и никогда не нашел. Я глядел в ее смуглое лицо. Она была очень милая. На миг мне показалось: она и есть та девочка, ну, со старикашкой, с ночной московской улицы. Та самая, только выросла, и ее похитил толстяк, и привез в свой дворец. Нет, бред какой, она совсем другая. Она даже не знает, что на свете есть такой город — Москва. Я погладил ее по лицу. Она не отстранилась. Некогда было миловаться. Она быстро собрала рюкзак с продуктами и одеждой. Сложила и сунула туда плед. Я понял: кто знает, где мы будем ночевать. Может, вдвоем, на этом самом пледе. Под сухим пустынным кустом.

«Деньги! — шепотом крикнул я ей и для верности жестом показал — пальцем о палец потер. — Деньги, Дина! Иначе мы никуда не доберемся! И паспорт, паспорт!» Слово «деньги» она по-русски знала хорошо, и слово «паспорт» тоже. Она положила руку на грудь и сказала мне: «Не бояца, ти, не волнуца, я все взят себе». Не бойся, не волнуйся, я все взяла с собой. Я уже хорошо понимал ее чудовищный русский. Я провел ладонью по ее гладко зачесанным черным волосам и крепко прижал ее голову к своей груди. И вся любовь.

Я взвалил рюкзак на спину, она тоже нацепила на плечи маленький рюкзачок, там были лекарства, еще еда, лепешки и, может, маленькие женские штучки: косметика, парфюмы — восточные девчонки все это очень любят. И мы побежали.

Бег, бег! Человек перебирает ногами. Он всегда, все время бежит. Убегает от опасности. Бежит к мечте. Бежит из города в город. Бежит к любви; бежит от любви. А вор, ну, значит, я, убегает от возмездия. Он понимает: он — вор! И его за это накажут. Может, просто высекут, а может, повесят на всеобщее обозрение. Мне шейх рассказывал: был такой полководец Тимур, он вешал воров на воротах города. И на Руси тоже воров вешали на воротах. Воров и убийц.

Своровать — это все равно что убить.

Раньше так считалось. А сейчас?

Бежать, скорей, мы бежали, перед нами растилась ночные улицы, автобусы стояли поперек дороги, с каменных башен, горящих тусклым золотом в непроглядной ночи, иногда постреливали, изредка машина шуршала шинами по ночному асфальту, за каждым углом таилась смерть, — смерть горбилась за каждым кустом, а мы бежали, и Дина держала меня за руку. Женщина всегда держит мужчину за руку. Рюкзаки давили ремнями нам на плечи. Хорошо мы экипировались. Внезапное веселье охватило меня. Хоть в пляс пускайся. Я крепче сжал руку Дины, обернулся и улыбнулся ей. Она бежала, рюкзак стучал ей по спине, она ловила ртом воздух, задыхалась. Я спросил ее: «Дина, куда мы бежим? Ты хоть знаешь?» Она, продолжая цепляться за мою руку, выдохнула: «Мы бежал море. Море! Там лотка! Лотка плить! Плить лодка юарап! Юарап!» Я с трудом сообразил, что «Юарап» — это Европа.

Я ничего не понимал. Важно было бежать, не останавливаться. Сухие деревья, а вот листва, а вот груды камней посреди ночной улицы, как груды черепов. Революция тут перешла в войну, я это видел. Почему мы не могли отправиться в аэропорт, купить билет на самолет и просто-напросто улететь отсюда куда угодно? Я слишком поздно догадался. Дина остановилась, чтобы перевести дух, снова положила руку на грудь. Грудь ее часто поднималась, она ловила воздух ртом. «У нам отшен мала денга. Мала-мала. Хватит штоба кушал. Нет хватит штоба ехаль. Дорога нет хватит». Она прочитала мои мысли. Я ободрил ее: «Деньги? Я достану!» И показал жестами, какой я ловкий. Она засмеялась.

Мы стояли на ночной улице Сирта и смеялись. Мы еще были молодые.

Я — еще молодой; а она так вообще малявка. Не знаю, сколько ей было лет; пятнадцать, шестнадцать? Неважно.

«Дина, — я шептал, — Дина, ну что ты ко мне прицепилась, вот куда мы с тобой бежим, если у нас денег ни шиша нет и мы не сможем убежать далеко?» «Ни-ши-ша?» — повторила она старательно. Я сложил пальцы в шиш. Она смеялась опять. И опять мы бежали.

Рассветало, по дороге катил пустой автобус, Дина подняла руку и остановила его. Шофер открыл двери и впустил нас. Дина протянула ему деньги. Он спросил ее о чем-то; она ответила. Автобус покатил, мы уселись на сиденье, меня мотало, и я, кажется, задремал.

Проснулся оттого, что Дина отчаянно расталкивала меня и кричала мне в лицо: «Прасипаца! Прасипаца! Нет спат! Нет спат! Приехаль!» Я разодрал глаза. Мы выпали из автобуса, как деньги из дырявого бумажника. Перед нами плескалось море. Оно, огромное, синее, было все залито солнцем. Утро. Бать, это было утро.

И на берегу, рядом с белым пирсом и правда, качалась большая лодка. Я вгляделся: всюду в море выдавались такие длинные белые каменные пальцы и близ каждого качались лодки. Рыбачьи? Рыбаков нигде не видать. Лодки были деревянные. И тут волосы у меня поднялись дыбом: я разглядел и надувные! Обернулся к Дине. «Я не поплыву на такой лодке», — внятно сказал я Дине и показал на резиновую угловую лодочку. Лодки сейчас пусты, но скоро они наполнятся народом! И даже переполнятся! Я задрожал. Чертовщина какая! В отличие от Дины, я хорошо представлял себе величину моря, что предстояло нам переплыть. А наших денег хватит, чтобы заплатить этому паромщику, или, может, не хватит, зло спросил я Дину. Она закивала: «Хватит! Хватит!» На берегу появился темнокожий ливиец. Он тяжело вдавливал ноги в песок: шел к деревянной лодке. К ближайшей.

Дина цапнула меня за руку, потащила за собой. Подскочила к темному, как кора дуба, ливийцу. Залопотала. Выхватила из-за пазухи деньги, стала ему совать. Он взял. Махнул ру-

кой в сторону лодки: садитесь, мол! Мы были первые, еще никого не было. Солнце палило. Народ возник ниоткуда, навалился, захлестнул все: и берег, и лодку, и капитана. Ливиец еле успевал брать деньги у людей. Он заталкивал их в небольшой кожаный мешок, висящий у него на боку. Мешок был похож на лошадиную торбу. Из такой кони едят овес. Я вспомнил коней пана Высоковского. Жалко мне стало той моей жизни. А вот лодка передо мной, и пес его знает, доплывем мы из Африки в Европу или не доплывем; море, неужели потонуть в море суждено, туманно и злобно думал я. Дина все вцеплялась мне в руку, и по ярко сверкающему под лютым солнцем песку, по этой чужой земле, так здорово политой кровью, что от крови, от ее густой соли тут, на этом песке, уже ничего не росло, под этим пустым и голым, чистым небом, выдраенным до чертовой синевы, как в открытом жарком космосе, шли мы, — шли к этой проклятой лодке, и влезли в нее. Эх, бать, лодчонка мне эта изнутри показалась просто деревянной скорлупкой, а никакой не лодкой! Яйцом выеденным, пустым деревянным! Любая сильная волна сломает! Перевернет! Мы забрались в лодку, а за нами посыпался народ, он все влезал и влезал, лодка под тяжестью людей оседала днищем в воду, я опасливо перегнулся через борт и глядел на ватерлинию: борт был выкрашен синей краской, а самое днище — темно-красной, будто брюхо лодки окунули в кровь и она так и застыла, запекалась на солнце. Куда вы лезете, так и хотелось мне крикнуть всем этим людям, вы что, не понимаете, что лодка перевернется к едрене-фене?! Мы с Диной примостились у самого борта; место было опасное. Да, в случае сильного крена, даже если бы лодка не перевернулась, люди бы гроздьями посыпались через борт, и мы в том числе. Но это уж как повезет. Я утешал себя и бормотал себе: «Тебе всегда везло, вор, всегда, ну своруй, своруй жизнешку свою и на этот раз, пусть тебе опять повезет. Опять».

От людей пахло потом и духами, и едою из их сумок, и сыромятной кожей, и алкоголем, и опять потом, и молоком, и мочой, и лекарствами, и снова потом — человеческий пот перебивал все запахи, это была священная жидкость, ко-

торой можно было окроплять все на свете: и позор, и кровь, и торжество. Лодка наполнилась до чертиков — уже основательно просела под людской тяжестью. А с берега все напирали, все прыгали в нее. Капитан резко разрубил жаркий воздух темной рукой: баста! Алюди все лезли. Он вынул из-за пазухи пистолет и выстрелил в небо. Раз, другой. Люди на берегу заорали. Какие-то полезли вон из лодки, попрыгали в воду, шли по пояс в воде. Капитан гортанно крикнул. Дина прижалась ко мне. Я вынужден был обнять ее. Лодка отчалила от пирса. Она отплывала от берега Ливии тяжело и грузно, — она была как мой мертвый шейх, которого я убил, грузная и толстая, битком набитая людьми, их судьбами, и моя тут же была, сплетенная, навек или на миг, я этого не знал, с судьбой этой смуглой остроглазой девчонки Дины. Я заглянул ей в лицо. Губы ее шевелились. Может, она молилась. Батя, она была счастливее меня: она верила в Бога. В этого своего — в Аллаха.

Мотор рокотал, жаркий ветер обвевал лица, кто-то громко плакал, плач несся над головами, над лицами угрюмых людей. Все молчали. Я пытался угадать, кто плачет — ребенок или взрослый. Голос тонкий. Ребенок, наверное. Море было спокойным, жарища дикая, солнце забиралось все выше, обжигало люто. Люди надвигали панамы на глаза, бабы кутались в эти их белые, громадные, как палатки, платки. Мотор тархтел, лодка плыла вперед, синева раздвигалась перед деревянным ее носом, и я потерял счет времени. Меня лишила разума жара. Я стащил с себя рубаху и обмотал ею башку, вместо панамы. Гудело вне или внутри? Соленый, йодистый дух моря перебивал запах пота. Я глубоко дышал. Сознание раздвоилось. Одна часть меня была далеко отсюда. Там шел снег и обнимал вечный холод. Другая таяла, как конфета под языком. Мне приснилось, что я тону. Я медленно опускался в просвеченной солнцем толще сине-зеленой воды на дно, шевелясь, как водоросль. Жизнь тонула, а может, еще плыла, а может, ее уже выбросило на чужой берег чужим прибоем.

Когда я открыл глаза, уже темнело. Наступала ночь. Ночь в море. Мотор по-прежнему тархтел. Лодочник хорошенько запасся горю-

чим. Да, прибыльное дельце! Тучи переселенцев! Люди бегут от смерти. От чего же им еще бежать? Смерть — самое страшное, что ждет человека. Не стреляйте в нас! Не пытайте нас, не топите нас, как котят! Вы не хотите нас? Мы сгодимся в другом месте! В чужом! Мы украдем его, и оно станет для нас родным. Мы — украдем — родину!

Море тихо светилось. Фосфоресцировало. Мне до боли хотелось свесить руку с борта и потрогать воду, теплая ли, но я ужасно боялся это сделать. Лодка была так полна народом, что малейшее движение тела — и она дала бы крен. Поэтому все, видать, предупрежденные капитаном, сидели неподвижно. Дина спала. Она сморилась. Привалилась горячей головой к моему плечу. Я обнаружил, что у меня обгорели плечи. Я же сидел без рубахи. На плечах вздулись волдыри. Боль невыносимая. Я оторвал от рубашки рукав. Это будет шляпа. Дина проснулась. Я натянул рубаху. Над нами, высоко, над нашими затылками стояла огромная, чуть синеватая луна. Мы, у самого борта, сидели чуть выше всех, на поставленном на попа ящике. Лодка, если глядеть сверху, напоминала вскрытую консервную банку, и внутри жратва: то ли мясо, то ли рыба, а может, икра. А может, зеленый горошек. Если Бог захочет нами отобедать, он играючи шаловливой рукой опрокинет банку. И тогда мы все будем медленно плавать в супе. В соленом.

Темная, синяя, очень теплая ночь. Прозрачная, как бабий самоцвет. Я обнял Дину за плечи. Она просунула руку мне под мышку и обняла меня. Так мы обняли друг друга. И так сидели. Словно памятник тому, чего не могло быть никогда.

Сидели, со всех сторон стиснутые народом; народ нас тоже обнимал — боками, плечами, локтями, спинами, задами. Мы сидели тесно, торчали на дне этой лодки под полной луной, а луна лила мертвенный свет, глядела на нас своей призрачной рожей. Море расстилалось вокруг. Морю конца не было. Везде море. Дина шепнула что-то по-арабски. Я не отреагировал. Потом она шевельнула головой и тихо прошептала на своем ужасающем русском: «Ми ехаль свабоду. Свабоду».

Свобода, черт, свобода, думал я тогда, на

черта мне, и без того свободному, свобода! Я не знаю, что со мной будет: это не свобода, это неведение. И тревога. Я могу утонуть в этом море — это не свобода: это рок, судьба, а от нее не уйдешь. Девчонка эта цепляется за меня, какая же это свобода? Она свяжет меня по рукам и ногам. И все же я без нее на этой дурацкой свободе — ничто. Мужчина, цепляйся за женщину. Она — выведет.

К свободе или к чему другому, это уже не важно.

Жрать хотелось как из пушки. Мы залезали в наши рюкзаки. Потихоньку жевали наши припасы. Рядом сидел чернявый, дико курчавый мальчонка. Он жадно глядел на нас. Как мы едим. Я отломил кусок медовой лепешки и протянул ему. Он взял аккуратно, грациозно, а ел жадно, зубы в лепешку запуская как зверь. И крошки с ладони подлизал. И опять смотрит. Дина скормила ему всю банку сардин. Он брал рыбу пальцами. Мордочка вся в масле вымазалась. Масло капало ему на штаны. Я искал глазами, где его родители. Наклонился к нему и спросил: «Мама? Где мама?» Это слово — мама — знают все. Без перевода. Кучерявичик показал пальцем: вон мама! Чуть поодаль, на лавке, тесно сжатая людьми, сидела молодая женщина, чуть постарше Дины. Она кормила грудью ребенка. Младенец был такой же кудрявый, как его брат. Южные народы вообще очень волосатые. Я завидовал; я уже слегка лысел. Есть такая пошлая пословица: у счастливого растут волосы, а у несчастного ногти. Значит, я был реально несчастен, бать.

Опять задремали.

А когда рассвело, началось!

Утро залило жарой лодку и море, мы все продрали глаза, встряхнулись, глядели вперед и видели: вон он, берег, в дымке, в утреннем тумане, а близко! Кажется, близко! Я всюду слышал, все произносили, кричали, шептали одно слово, похожее на «Италия». Посмотрел на Дину. Она кивнула: «Италия!» «Ну ничего себе, — подумал я, — вот я и до Италии добрался. Красоту ее хоть погляжу!» Мне художники говорили: это земля художников. Мне! Художнику! Какой я, к черту, художник. Я только притворялся им. Неудачно. Не выдержал марку.

Все загомонили, возбудились, задвигались. Повскакали с мест. Это лодку и погубило. Мы оглянуться не успели, как она накренилась на правый борт, а мы там как раз сидели, завалилась и стала подниматься днищем вверх. Все заорали, и мы тоже. Я одной рукой вцеплялся в закраину борта, другой прижимал к себе Дину. Напрасно! Лодка перевернулась килем вверх, красным своим, кровавым килем. И все мы вывалились в воду. Все живые людские консервы. Вся деревянная банка.

Батя, я скажу тебе, это черт знает что такое — тонуть. Не приведи Бог никому тонуть. Лучше все что угодно: пуля, веревка, даже огонь. Когда ты тонешь и воду хлебаешь, ты никакого сознания не теряешь! Ты все соображаешь! И ты на дно уходишь именно так, как мне и прикинулось: медленно, тяжело, ужасно, выпуская пузыри изо рта, глупо, нелепо перебирая ногами, бессмысленно двигая уже не нужными руками, я именно так и тонул, и рядом со мной бешено ворочалась и билась в воде Дина, она пыталась сама выплыть и меня вытянуть. Милая девочка! Я благодарен ей. Я так ее помню. Она была такая ласковая. Как лань, как домашняя кошечка. Но, когда надо, она могла быть очень сильной. Редкое качество в женщине. А может, и нет. Есть версия, что женщины сильнее нас. Надо проверить.

Все мы, батя, то спасаем друг другу жизнь, то убиваем друг друга. Душим, топим.

И тот, кого ты спас вчера, сегодня спасет тебя.

И того, кто спас тебя вчера, сегодня ты убьешь.

Жизнь у него — украдешь. Для себя.

А может, для кого другого. Так тоже бывает.

Лодка плавала брюхом кверху, как рыба, убитая взрывчаткой, а вокруг лодки плавали мы все, несчастные люди, беженцы из Африки в Европу! Вода теплая, кто-то держался на поверхности, бил руками по воде. Кто-то судорожно, крупными саженками, плыл к берегу. Кто-то спасал родных и тонул сам. Кто-то никого не спасал, а спасал свою шкуру. Я погрузился в воду, я внезапно весь отяжелел, руки и ноги налились чугуном, и тут меня снизу, из воды, мощно вытолкнул наружу, на поверхность моря, будто играющий кит, или дельфин, или кто другой. Будто железной болван-

кой мне саданули под зад. Я выплыл пробкой. Выпучил глаза, воздух ртом хватал. Глазами искал среди орущих голов Дину. Не находил! Люди тонули. Они тонули, батя, целыми пачками! Захлебывались! Поднимался ветер. Он дул с моря на сушу. Играли волны. Волны легко и весело захлестывали людей. Вода — это великая стихия, вода все пожрет. Если вода вдруг нахлынет на сушу, вся суша уйдет под нее, и всего нашего мира как не бывало. Головы и руки исчезали в волнах. Море ело людей, это был его завтрак. Я слышал чей-то зычный крик. Он бестолково разносился над морем. Может, это кричал капитан. Так близко был берег!

Так близко!

Я задышался. Уже хорошо наглотался воды. Я до сих пор не знаю, кто меня вытолкнул наверх. Рядом со мной бил руками по воде тот мальчонка, кучерявый. Я оглянулся. Матери его нигде не было. Мать и кудрявый младенец, видать, уже утонули. Люди тонули и орал, но все равно плыли к берегу, плыли. Я увидел Дину. Она барахталась невдалеке. Я подплыл к ней, подхватил ее под мышку, одной рукой греб, другой ее тащил. Она шевелила ногами. Ее волосы развилась и облепили ей лицо и рот. Она была как рыба, опутанная черной сетью.

Потом она ушла с головой под воду и захлебнулась.

Я еле успел поймать ее, как большую рыбу.

Навстречу нам, с берега, бежали люди. Они заходили в воду, кто-то бросался в плавь. Подхватывали нас. Выволакивали на песок, на камни. Показалась моторная лодка; она плыла к людям, и люди уже лезли на нее, хватались за ее борта, а кто сам не мог залезть, того подхватывали под мышки и втягивали в лодку. Нам что-то кричали на незнакомом языке. Это были итальянцы. Из моря на берег все вынимали и вынимали людей — кого живого, кого мертвого. Тех, кто не подавал признаков жизни, складывали рядом, тут же прикрывали чем угодно — тканями, целлофанами, рыбачьими сетями, старыми плащами. Не надо видеть лицо покойника. Покойник, даже если глаза у него закрыты, все равно глядит тебе в душу. И молча говорит: ты станешь такой же.

Я сам догреб до берега, сам вытащил на камни Дину. Она была без сознания. Я дово-

лок ее до залитых солнцем сухих плоских камней и тихо уложил на камни, лицом вверх. Тряс ее. Бил по щекам. Бессмысленно. Потом вспомнил: искусственное дыхание! Рот в рот. Вдыхаешь воздух в рот, потом надавливаешь на ребра. Кажется, так. Или не так? Некогда было вспоминать. Да и не подсказал бы никто. Я наклонился над Диной. Отвел черные мокрые волосы от ее рта. Прижался губами к ее губам и вдохнул в нее свой живой воздух. Из своих легких.

И еще раз. И еще раз. И еще.

При этом я старательно надавливал ей обеими руками на грудь.

Старался не очень сильно давить; боялся раздавить. Ребро сломать.

Она дернулась, повернула голову, и из легких на камни у нее вылилась вода. Она закашлялась. Кашляла надсадно, и из глаз у нее потекли слезы. Я вытирал ей слезы ладонями. Вокруг нас сидели на песке, валялись на камнях, обнимались и плакали люди, выжимали волосы, ложились на живот и целовали землю, поднимали лица к солнцу и страшно кричали всякие свои восточные проклятья. Дина лежала на камнях и глядела на меня снизу вверх. Солнце палило ей лицо, мне затылок. Люди на берегу копошились под солнцем, мокрые, потрясенные, среди нас и вокруг нас бегали итальяшки, быстро лопотали, воздевали руки, уже куда-то кого-то тащили — за руки и за ноги, на носилках, на руках. Катерок подбирали в море еще плывущих. По берегу бежали аквалангисты, на ходу надевали ласты: нырять, спасти тех, кто ушел под воду. Кого они спасут? Зачем? Чтобы похоронить?

Бать, я бы не хотел быть утопленником, нет. Ты всплывешь, опухнешь, тебя съедят рыбы. Земля и вода все живое съедают. Мы — пища не для Бога, нет. Мы — еда для самой земли. Самая вкусная, желанная. Трудно это осознать. Но, если осознаешь, гораздо спокойнее станет.

<...>

Динина красота поблекла, она сильно исхудала, стала кожа да кости. Из маркета она приносила большие бумажные пакеты, доверху полные едой; но сама эту еду не ела. Сидела

и глядела, как я ее поедаю. Рукою щеку подопрет и глядит, пригорюнившись. Как русская баба. Я ей подмигиваю: что не ешь? Вкусно же! Трепанги, маслины, сыр с плесенью, итальянская паста! Она машет головой. «Нет, есть ти, ти есть, а я голодай, я нет хотель. Нет хотель». Я заподозрил, что она больна. Чем? На врача у нас денег не было. Еле на нашу каморку хватало. И на жрачку.

Я шептал себе: молодая девчонка, все заживет как на собаке. Потом Дину увидал наш старик сосед. Он доктор оказался, рентгенолог, правда, в прошлом. Зазвал нас обоих к себе. За ширмой осмотрел Дину. Говорил долго и страстно, я ни шута не понял. Тогда он написал все, что говорил, на большом листе бумаги, крупными буквами. И повторял по-английски: «Транслейт, транслейт!» Мы потом перевели, нашли русского нищего у входа в цирк шапито. Он по-русски матерился, я к нему бросился обрадованно, как к брату родному. Он прочитал нам каракули доктора. Там черным по белому стояло: «РАК ГРУДИ ОПЕРАЦИЯ СРОЧНАЯ ТОГДА ВЫЖИВЕТ И ПОПРАВИТСЯ ЕСЛИ ПРОМЕДЛИТЬ БУДЕТ ПОЗДНО». «Это вот у нее рак груди?» — ткнул бродяжка в Дину пальцем. Она глядела грустно, непонимающе. «У нее, — кивнул я, — спасибо, брат».

И я дал ему последнюю монету из всех наших последних монет; больше до самого жалованья у нас денег не было.

Но зато дома, в шкафу, были и паста, и рис, и оливковое масло, и томатный соус, и сахар, и соль, и мука. Дина отменно пекла лепешки. Она напекла гору лепешек и отварила пасты, мы залили все это томатным соусом, как кровью, сидели и смотрели друг на друга. Она тихо спросила: «Я умирать, да?» — «Нет», — сказал я твердо. Над столом нашел ее руки и сжал крепко. Динин мизинец вымазался в соусе. Я взял ее руку и слизал, как пес, соус с ее руки. А потом поцеловал ее ладонь.

А потом, батя, мы отправились в Марсель. Этот старик сосед сказал нам: Франция, Марсель, там отличные врачи, они бесплатно делают операции беженцам, многих уже прооперировали. Италия тоже хорошие врачи, но надо много евро, много! Целый мешок! Он пока-

зал руками, какой величины должен быть мешок с деньгами. Я уже слегка понимал по-итальянски. Где это, Франция, спросил я рентгенолога, в какую ехать сторону? Старик махнул рукой на запад. Там как раз солнце садилось. Я все понял куда.

<...>

Париж жил совсем не как райский сад. Никакого Эдема. То студенты на площадь выбегут и орут, надрывая глотки, и полиция распыляет слезоточивый газ. То арабы подожгут богатые автомобили. Перебьют стекла в маркетах. В метро взрывали вагоны, людей на станциях. Нашествие чужаков происходило незаметно, но настойчиво. В руках иноземец держал не бутылку божоле, а гранату, базуку или автомат. Люди с темной кожей всех оттенков наплывали на Париж, и Марк наблюдал их, как жуков в коллекции, и уже научился различать народы: вот эти мулаты, а эти — эфиопы, а эти — марокканцы, а эти, женщины у них в никабах, из Сирии, Йемена или из Саудовской Аравии. Притягивал их всех Париж! Запад сам, весь, висел как спелое яблоко проклятого христианского райского сада, отягощал ветку. Ветку надлежало сломать или быстро и безжалостно яблоко то сорвать и съесть. И делу конец.

Темные народы этим и занимались.

Конечно, Марк допускал, что среди темнокожих восточных людей, наплывающих темным цунами на Париж, было много хороших людей; а куда без них, вот вам овцы, а вот волки, это нетрудно понять. А сможете ли вы простить волку, если он загрыз овцу? Или вы его возненавидите по гроб жизни, будете на него охотиться со своей жалкой берданкой и однажды отомстите ему: выстрелите ему в бок, свяжете лапы и будете торжествующе глядеть ему в желтые злые глаза, и шептать ему, опутанному веревкой: ты, волчара, ты теперь больше никогда не пустишь в ход свои желтые острые зубы! Битва народов шла, она развивалась тихо, исподволь, а иногда вспыхивала ярко, и эти вспышки люди видели издали.

Арабы напали на маленький храм на окраине Парижа; а Марку казалось, они захватили

Нотр-Дам. Они там, недалеко, с Диной жили: в бедняцкой квартирешке, и крысы их посещали, и холодильник сломался, и новый купить было не на что. Стрельба началась неожиданно. Впрочем, как все на свете. Пули и взрывы. Он шел мимо. Пригнулся. Стали стрелять гуще. Он бросился на живот, закрыл затылок руками. Его подхватили под мышки и поволокли. В церковке, на полу, на грязных каменных плитах, жались друг к другу напуганные люди с белыми, бледными лицами. Марка швырнули на пол. Ногами подкатали ближе к горстке трясущихся от ужаса людей. Араб в клетчатой арафатке что-то выкрикнул, слюна из его рта попала Марку на лоб и щеки. Марк не понял, что крик араба означал: ты заложник! И они все заложники!

Потом к нему подскочил другой араб, в белой длинной айемме и в грязном камуфляже. Араб зло тряс его и орал ему в лицо по-французски: «Ты знаменит?! Ты известен?! Ты знаменитый француз, политик? Артист? Может, ты журналист?! Кто ты?! Мы убьем тебя! Или получим много денег за тебя!» Марк не понимал ни словечка. Надо было что-то отвечать, уж слишком яростно араб орал и тряс его, как грушу, голова моталась. Марк вдохнул и выдохнул по-русски: «Я русский».

Араб понял эти слова. Бросил его трясти. Отступил. Круглыми птичьими глазами глядел на Марка как на диковину.

Снаружи раздались крики и выстрелы. Арабы расселись по подоконникам и столпились в дверях. Отстреливались. Марк понял: ни о чем не договорятся с полицией. Будет штурм. А может, уже начался. Каменные своды церкви уходили в далекие небеса. Жизнь продолжится и после того, как меня подстрелят, говорил он себе, а потом спрашивал себя изумленно: а Дина-то как же тут будет одна? Привык он к ней. Пули лупили по каменным узорам, по лепнине, вдрызг разбили цветную стеклянную розу, стрельчатые витражи. Цветные стекла летели в заложников. Дети кричали, матери наваливались на них, закрывая их собой. Раздались взрывы, и Марк перестал видеть и помнить. Его, потерявшего разум, опять волокли. Раненый, кровь текла. Весь вымазался в крови. Помнил нежный голос над собой. Камни и

ть. Раны перевязывают, и это очень больно. Еда скользит по глотке вниз, в темноту жизни. Он глотает, надо глотать. Надо есть, чтобы жить. Слезы каплют ему на лицо. Сознания все еще нет; есть только чувство. Жизнь — это чувство, и больше ничего. Если ты чувствуешь, значит, ты живешь. Еще живешь.

Женские руки. Женские вздохи. Знакомый запах. Все знакомое, и, значит, все вернулось. Или это он сам вернулся? С того света, с этого? Сколько людей погибло? Так хотел он спросить и не спросил. Настал день, когда он открыл глаза. Глаза увидели над собой Дину. Ее склоненное лицо. Он хотел потянуться к этому лицу губами. Поцеловать, сказать. Ему на губы легла Динина рука. Она запрещала ему говорить. Сколько дней он пробыл без сознания? Кто его лечил, выхаживал? Дина? Или врачи? Это уже было все равно.

Он окончательно пришел в себя. Ходил. Ел. Дина поддерживала его под локоть. Силы возвращались. Жизнь восстановилась и воцарилась. Дина сказала ему: давай отсюда улетим. Он спросил: куда? Она ответила: в Америку. Он засмеялся и сказал: дорогой билет! Зато жизнь там дешевая, ответила она. Франция очень дорогая страна. Мы здесь не выживем.

И они заработали денег на два билета в Америку.

Погрузились в толстобрюхий страшный аэробус. Взлетели вроде нормально. И летели нормально. Сидели рядом, Дина боялась лететь, Марк держал ее за руку. Сошла на землю ночь. Они летели над океаном. Дина спала. Голова ее свешивалась вялым цветком, приоткрылся рот. Марк покосился на ее грудь. Взамен отрезанной Дининой груди под кофтой торчала накладная — она вставляла силиконовый муляж себе в лифчик. Шов давно зажил, но все равно он боялся ночью, даже сквозь ночную рубашку, ко шву прикасаться. Его передергивало: от отвращения, от жалости. Он забыл, когда они спали вместе. Дина казалась ему его больным ребенком, он потерял его когда-то и вот нашел.

Ночь раскинула широкие крылья. Марк задремал. Он выпустил руку Дины. Самолет затрясло. За бортом бушевала гроза. Ударяли молнии. Кто спал, кто глядел в иллюминаторы с ужасом и восторгом. Молния ударила совсем

рядом. Марк проснулся. Ему показалось, что он оглох. Звуков не было. Да нет, он спал и видел страшный сон. Самолет падал. Кто не пристегнулся ремнем, бился рыбой и плавал по салону. Люди кричали, но глухой Марк не слышал криков. Он сидел в кресле как приваренный, он забыл, отдыхая, отстегнуть ремень. Дина, где Дина? Ее не было рядом с ним.

Больше он никогда не увидел ее.

Самолет стал разваливаться еще в воздухе. Еще не успел удариться о поверхность океана. Люди летели вниз, раскидывая руки и ноги. Переворачивались в воздухе. Марк в Италии, в церкви одной, видал такую фреску: все летят, ветер развеивает одежды, руки-ноги людей задраны, лица искажены страхом, а поток жизни, ветра и судьбы несет их, они навеки летят в пространстве, потеряв, забыв свое время. Может, мы все — эта фреска? Как же она называлась? Страшный суд, да, Страшный суд! Как хорошо, он вспомнил.

Свободное падение оказалось медленным и полным восторга. Станный, глупый восторг обуял его. Он ухитрился, летя, думать. Сам себя назвал безумцем. Видел, как люди валились в океан: черный, с покрывалом странных блесков, и дегтярная чернота залита бледно-розовым светом луны. Луна стояла в зените. Марк перевернулся в воздухе, его ноги оказались выше головы, и он увидел луну в лицо. Луна была мертвая, но она глядела живыми глазами. Напоследок он подумал: так жизнь смотрит из смерти. И успел еще подумать: смерть — это тоже жизнь. И молча сказал себе: не бойся.

Потом вместо воздуха, страха и времени наступила вода.

И время оборвалось.

...Оно началось опять. Он с трудом повернул голову. В шее взорвалась резкая боль. Он скопил глаза и увидел койку. На койке лежала девочка. У нее было черное лицо. Оно глядело из белых бинтов. Белые простыни пахли морозом. На миг ему показалось: он в России, и лежит в снежном поле, и сейчас его заметет метель. Раздались голоса. Он опять не понимал ни слова. Говорили по-английски. Он уловил: «Only these two survived». — «Только эти двое выжили». Он старался думать, но думать было

трудно. Двое — это кто? Он и эта чернолицая на соседней койке? Сам себе он ответил: да.

Его документы спаслись вместе с ним: они торчали в кармане его куртки. Чернокожая девочка документы потеряла. Его спрашивали о девочке, показывая на ее койку. Он на ужасном английском сказал: это моя приемная дочь. Зачем он так сказал? Он не знал. Ему поверили. Или сделали вид, что поверили. Важно было вылечить чужеземцев и вытолкнуть их вон. А может, отправить туда, откуда они прибыли. Его пытали: Раша? Раша? Он мотал головой и все отрицал: «Ноу, ноу, Пэрис, Пэрис, Франс». Они глядели в его промокшем в соленом океане паспорте на американскую визу, выданную в восьмом округе Парижа. Нет, не подделка.

На человеке заживает все как на собаке. Чужой язык сам лезет в уши. Он вспоминал школьный английский как забытую детскую сказку. Ему сказали: ты в Соединенных Штатах. Он не удивился и не обрадовался.

<...>

Ужас пришел и навалился только в автобусе. Он купил билет до пограничного с Мексикой города Эль-Пасо. Плохо, что он без вещей; его примут за шпиона или за наркоторговца. На стоянке он купил огромный пакет, набил его майками, шортами, консервами, сэндвичами, бананами. Ну вот, так он больше похож на банального туриста. Как он попадет в Мексику? А зачем ему туда попадать?

...Да, зачем тебе туда попадать, спрашивал я себя, какая шлея под хвост тебе попала и ты, как баран, направил копыта в сторону Мексики, может, надо было ехать на север, в Канаду, ах, тепла ему захотелось!

Бать, да никакого тепла мне не захотелось. Просто башка так работала. Прикатил на вокзал, а там на табло названия разных городов, ну и вот этого: Эль-Пасо. Красиво звучит. Я же падок был с детства на все красивое, блестящее. Вот и здесь меня потянуло на сладкое. Я билет взял и только потом сообразил, что это на границе с Мексикой. А что, подумал я, оно, может, и к лучшему! Прекрасно! Знойные ба-

бенки, мужики с револьверами за поясом, ананасы и агавы, пирамиды, индейцы и жара, жара! Чем не рай земной!

Ты представляешь, я все еще искал рай земной.

Хотя превосходно понимал: нет его нигде и быть не может.

Не буду тебе рассказывать, как я переходил границу. Это песня. Проводник, и деньги из рук в руки, и какие-то покорные, до ушей навьюченные животяги, может, ослы, а может, мулы. И ночь. Ночь. И стреляли, знаешь. Подстерегли нас. И кого-то ведь подстрелили. Я бежал, прятался за камнями, потом вставал и двигался перебежками — туда, куда канул в ночь наш проводник. Все ругались по-испански. Это был опять другой язык, и мысль червем проскользнула: и ему я тоже не обучусь, хоть понимать — буду. Бежали, спотыкались, вслед нам неслись ругательства. Я полз, обдирал локти и живот об острые камни. Бать, мне уже было все равно. И все равно я спасал свою шкуру. Человек дорого ценит свою шкуру. А она-то — раз, и выдохлась, морщинами покрылась и седыми волосами; раз, и вспороли ее! Хорошим, острым охотничьим ножом! Пулей — продырявили! Вот тебе и все великолепии! Так все просто, батя. Так все просто.

Чем дальше все катилось, текло, тем проще становилось. Как в Мехико оказался? Да по городишкам сначала мотался; красиво, люди разговорчивые, щебечут как птички, балкончики резные, церкви везде, шпили в небо уходят, как небоскребы; небо густо-синее, хоть ложкой ешь. Солнца много. И земля странная — вроде выжженная, а на ней прорва всего растет: и кактусы, и пальмы, и агавы, из них еще они там, местные, делают отличнейший напиток, здорово забирает, и гвайяба, очень, между прочим, вкусная штука, и папайя, эта на нашу дыню похожа, только душистее, будто духами ее сбрызнули, и ананасы, они у них вроде яблок, всюду, все их умело очищают от колючей кожи и едят — прямо на улице, идут и ножом кромсают ананас, сок с подбородка ладонью вытирают. Веселая земля! Всем весело, а мне нет. Ужас не отпускает. Я понял, что история в Сирте повторилась в Атланте. Один к одному. Там убил и тут убил. Я твердил себе: «Но ведь я жизнь себе, себе спас!» Другой го-

лос, он изредка звучал надо мной, гудел: «Ты жизнь свою не спас, ты ее своровал, и еще своруешь — не зарекайся, и прощенья не проси, бесполезно.

Много чего было уже бесполезно. У меня в кармане мотались бесполезные деньги. Снять их с чужих американских счетов уже было нельзя. Я не знал паролей, и я удрал в другую страну. Все, захлопнулась крышка. Только наличка, она жгла мне карманы, а заодно и душу, и просила как можно скорее и роскошнее потратить ее. Я снял апартаменты в центре Мехико. Гулять так гулять! Стрелять так стрелять! Пистолет купил с рук, у торговца оружием. Объяснялся с ним на пальцах. Вворачивал то итальянские словечки, то французские. Он меня понял без слов. Мужики разве друг друга не поймут? Да всегда. Живи, вор, пока есть деньги! Деньги закончатся — будешь думать, как их добыть!

Мехико-то недурной город. Народу вот только очень много. Тучи людишек по улицам ползают, в метро толпятся. Я слонялся в толпе, высматривал в ней богатых и бедных, сравнивал их. Только два вида людей и осталось на земле: бедные и богатые, и все. Остальные различия стерлись.

А кто я сейчас был такой?

Я посещал ночные клубы. Любовался на хошеньких телочек. Мексиканки, они пикантные. Две крови в них смешались: испанская и индейская. Кожа цвета красного абрикоса! Ножки нежные, как макаронины! И все, бать, волосатые, как ведьмы! Косы черные, гущина необычайная! Метут жизнь черным помелом! У кого-то кудри даже в синь отдают, в зелень. Хороши, да, я облизывался. Но, бать, то ли болезнь сказала, то ли и правда подустал я от жизни. Никого я в апартаменты с собой не звал, даже если сами навязывались и на колени садились, и поили меня коктейлем из фигурного стаканчика. Я не стал импотентом, нет. Просто устал. Устал.

Рот от коктейля рукой вытирал, клал смуглянке на стол сто долларов и уходил. Девчонка глядела мне в спину. Я спиной чувал ее горячий, изумленный взгляд.

Деньги уплывали. Я не глядел в завтра. Мне глядеть в завтра тоже надоело. В магазинах я

объяснялся на пальцах, и от этого я жутко устал. Батя! я так вдруг захотел в Россию! Но я понимал: там меня сцапают. А здесь я вроде как в убежище. В логове, заросшем колючками: агавами, кактусами. И крокодилы пасти разевают, мое логово защищают. Мне одна девчонка в ночном баре показала в мобильнике фото мутной реки, и в ней темные бревна плывут; я сначала не понял, она смеется: «Лос кокодрилос!» Ага, я понял, крокодилы. И мощные, я тебе скажу! Такие ногу легко откусят. Я вспомнил ту акулу, на Красном море. И ту златовласку, Катьку. На всю жизнь у нее метина осталась. И что, я поеду в той реке, с крокодилами, купаться? Я потрепал девчонку по плечу. По-английски сказал ей: «Beautiful crocodiles, excellent! Such fat!» Ну, значит, красавцы крокодильчики, отменные, такие толстые. Девчонка тарашилась, глаза круглые, навыва-те, как у рака. Она не знала английского.

Решил я познакомиться с местными красотоми. Поперся в местечко такое знаменитое у них, называется замысловато, постой, сейчас выговорю: Тео-тиу-а-кан. Там пирамиды. И пахнет древностью земли. Костями ее пахнет. Приехал, пирамиды на меня вроде стали надвигаться. Плоские, как черепахи, ступени громадные, не всякий человек заберется. Но туристы упрямо лезли, ноги на ступени задирали, и я туда же, полз-таки. Все лезут, и я лезу. Стадный инстинкт. Взобрался на вершину. Отдышался. Люди вокруг радостно лопочут. Я не понимаю ни хрена. Гляжу вниз. Голова кружится. Вокруг меня солнце. И у людей лица сияют. Чужая радость. Я ее не могу разделить. Меня чужаки обступают, под локти толкают, руками, коленями задевают, — я внутри людского моря, и плыву в нем, чужой, и никому я тут не нужен, даже солнцу! Даже пирамидам! Что я приехал на них поглазеть! Люди, что их построили века назад, превратились в землю. В прах. Мы, нынешние, цепляемся за эти могучие камни, лезем вверх по ступеням, — а может, они были гиганты, а мы — пигмеи! Лилипуты! И нам никогда не повторить их дел. И их веры, и их любви. И даже не своровать. Все, баста. Кончен бал, погасли свечи, и в тюрьме моей темно.

Скитался я по пирамидам этим царским, по

выжженным полям, мне сказали встреченные крестьяне: тут змея! — я не понял, мне руками показали, как змея ползет, и зашипели по-змеиному. Крестьяне кинули мне сомбреро от солнца: надень! — я ловко поймал, напялил его и шел, и сам себе казался мексиканцем. Я шел и смеялся: ну тыягни меня, укуси, змея! Вместо змей навстречу мне выбежали забавные зверьки. Ростом с лису, мордочки узкие, хитрые, хвосты длинные, толстые, пушистые и полосатые. Я потом узнал, как они зовутся по-русски: носухи. Носухи, черт! Ластились ко мне. Я гладил их, как котят. Видел: они хотели есть. У меня в кармане завалялся сэндвич с ветчиной, я им скормил. Они ели у меня с ладони.

Я подумал: а что, если поймать одну такую носуху да привезти к себе домой? Все не скучно будет. Я буду ее кормить, поить... играть с ней... хватать ее за полосатый хвост... Гладить, гладить по хитрой голове. А потом она стащит у меня со стола самый лакомый кусочек и упрыгнет в открытую форточку. Не очень-то от меня убежишь, у меня восьмой этаж; а она — по карнизам, по карнизам. А я подойду к окну и буду глядеть ей вслед.

Всем нужна свобода. Зверю. Птице. Рыбе. А что нужно человеку? Бывает так, что и от свободы он задохнется. Как во взорванной подлодке.

Ночью ко мне приходила моя Россия. Слушай, не смейся! Высоким штилем говорю. Наплюй. Это я придураюсь. Но ведь она и правда приходила. Лягу спать и только глаза закрою — она шагает к постели моей и на меня наваливается. Как толстая, большая баба, и лицом горячим к моему лицу прислоняется, а лицо у нее мокрое, по щекам ее слезы текут, и она мне рожу слезами мажет. Дождями! Ливнями солеными! Как я ее вспоминал, батя! Россию! Даже не представляешь! До скрипа зубовного. Ненавистную. И любимую. Ни одну бабу на земле я так не любил — там, ночами, в Мехико, жарком, сухом и чужом, как — родину мою, безумицу мою. Кровью, выходит, она в меня проросла. А я-то и не заметил. Никакие пирамиды, никакие такос, сок мясной по губам течет, никакая зеленая текила... хоть бочками лей, хоть на голову мне... ничего, ничего не заменит ее, дуру. Родину. Я ночью лежу, глаза в

потолок, от тоски тошнит, и, чтобы не блевать на пол и не рыдать, я сам с собой говорю по-русски. Бать! Тоска такая, что хоть лоб об стенку разбей. И ведь хотел однажды. Вскочил с кровати и ну биться головой о стену. В кровь башку разбил. Сел на пол и плакал. Толку что? Примочки делал свинцовые. Таблетки от боли глотал. Хохотал над собой. Уж если себя убивать, так сразу. С балкона прыгать. Или цианистый калий жрать.

Бать, не бери в голову. Тоска не хлеб, маслом не намажешь; слеза не водка, с ног не свалит. Батя, да нормально мне в Мехико жилось, очень даже ничего, я согласен был так жить и дальше, вот только кто-то бы денег мне подкидывал; а с ним бы я, в благодарность, делился. Но никто мне таких гостинцев не приготовил. Карабкайся сам, акробат! Вон она, твоя пирамида, ее голодный призрак! Я вечерами садился и пересчитывал деньги. Хозяин квартиры являлся за оплатой регулярно, первого числа каждого месяца. Четыреста долларов, это же просто по дешевке. Но деньги таяли. Я был обречен. Либо работай, либо кради! Третьего не дано.

И тут, батя, тут началось. Все радости и печали, все в одночасье разрушилось. И обрушилось.

Мексике накрыло страшное землетрясение.

Ну, ты сам понимаешь, я никогда в такую переделку не попадал! А вот довелось. Жутко все началось. Ночью. Я проснулся оттого, что мне приснилось: в лодке плыву, и дикий шторм, и сейчас лодчонку мою, битком набитую народом, волны перевернут. Опять та лодка, да, она уже у меня в жизни была. Проснулся весь мокрый, в подушку вцепляюсь, — а тут толчок! И еще, и еще! Со шкафа посуда попадала, разбилась. Стены трещинами зазмеились. Я вскочил, в джинсы ногами еле попал. Рубаху натягиваю, глаза продираю. Умываться уже некогда, все шатается, рухнет вот-вот! Я ринулся было вон из квартиры, да в последний момент догадался все-таки: схватил бумажник, паспорт в нем, остатки денег, а еще, батя, ухохотаться, фотография Дины, я ее с собой таскал, все же девчонку эту забыть не мог. Сантименты! Глупое сердце, не бейся, как-то так в стихах, не помню. К чёрту сердце! Я только успел ска-

титься по лестнице, люди рядом со мной тоже сбегали вниз и орала, спотыкались, падали, я обернулся, мы все обернулись и увидали, как дом наш сложился вдвое, потом стены поползли вниз вместе с окнами и лестницами, и за мгновение дом рухнул, вместо него на асфальте лежали груды камня, осколки кирпичей, слои пыли. В толпе сначала раздался тихий вой. Будто выла собака. По покойнику. Потом вой усилился. Там и сям раздавался громкий плач. Мужчины закрывали бабам оружие рты ладонями. Безумная мать бегала рядом с руинами и кричала: «Ихо! Ихо! Аий ми ихо!» Я так понял, у нее обломками придавило ребенка.

Знаешь, землетрясение — это хуже войны. Война, там хотя бы знаешь, что есть враг. И знаешь, кто враг. В тебе злоба, и хочешь сражаться. А тут? С кем воевать? С землей? С судьбой? Я трудился вместе со всеми. Мы все спасали друг друга. Я впервые видел, что люди так неистово помогали друг другу. Все как родные. Бать, ты не поверишь, я сам плакал. До того я вдруг почувствовал чужую жизнь, локоть другого. Душу другого! Горе чужого. Как свое! Мы разбирали завалы. Приехала полиция. Добровольцы работали без усталости. Никто не ел, не пил. Нам чужие женщины приносили попить. Из больших пластиковых бутылок. И они плакали, глядя на нас. А мы вынимали из-под камней, из-под тяжелых бетонных плит людей. Еще живых. Кто-то, я видел, был уже не жилец. Но мы спасали всех. И я видел мертвых, бать. И я опять смотрел смерти в лицо.

А не посмотришь ей в лицо, так ты тогда трус и сам не жилец. А так, мотаешься под луной, небо коптишь.

Вот тут, среди этого ужасного землетрясения, я и понял, что такое родство, помощь, все стали вдруг близкими, все стали — родные души. И родные тела. И тут, бать, я впервые ощутил знаешь что? Что тело — это тоже душа. Не мясо, не кости! не жилы и сухожилия, нет! А эта теплая, горячая плоть, или эти ручонки замерзшие, только дыханьем и согреть, себе чуть ли не в рот затолкать и неистово целовать, вот это все и есть душа, ведь если душа живет в человеке, она и есть сам человек. Мы их расщепляем всю дорогу, тело и душу, расщепляем. А разве можно их разорвать?

Эх, жаль, языка я не знал. Но я как мог разговаривал. На английском, иной раз на макаронном итальянском, утешал, ободрял. Ласковых слов на всех языках я знал мало. Очень мало. И я сбивался на русский, если добро хотел выразить. Милый, говорил я тихо по-русски, ну потерпи, все заживет. До свадьбы все заживет! Родной, погоди, скоро не будет больно, так шептал я умирающим, совсем скоро ты попадешь на небо. А там больше боли не будет. Никакой! Никогда!

И вдруг я, знаешь, представил себе, сколько же людей ушло на тот свет за все, все века, за все дикие тысячи лет существования на земле человека. Сколько народу сгнуло! И убито было! И своей смертью померло! Сколько людей, мыслью не охватить, исчезло, — кто в землю зарыт и истлел давно, кто сгорел, и пепел развеяли по ветру, чьи кости в полях и лесах звери изгрызли, кого разбомбили, взорвали, кого расстреляли в упор, кто в своей постели глаза закрыл, но ведь большинство, бать, большинство-то не в постели глаза закрывают, а черт-те где! в бою! в волнах! мы вон в самолете падали, и только чудом я остался жив! сами свою голову в петлю всовывают! сами себе нож под ребро всаживают! жить не хотят! а болезни? косою людей косят! а сколько абортот мамки будущие делают! мамками быть не хотят! Кто мы такие на земле и зачем мы живем, если все равно помрем?!

А на моих руках умирал, тихо отходил раздавленный каменными плитами, обломками стен и колонн человек. Когда южанин умирает, у него с лица исчезает смуглота, он становится не коричневый, не шоколадный, а такой, знаешь, мертвенно-лиловый, даже просто серый. Эти люди с мертвыми, серыми лицами. А глаза на землистом лице еще живут. Еще — смотрят. И видят.

Рядом со мной помогала вытаскивать людей из-под завалов молчаливая девушка. Маленького роста, козявочка. В смешных шортах. И ножки кривые. И рожица раскосая; вроде и не мексиканка. Но такая же смуглая, чуть в красноту, как все они. Молчит, камни отшвыривает, потом человека из обломков осторожно выпрастывает, руки такие ловкие, я помогаю, беру спасенного под мышки, она — за ноги, и

вместе тащим его на чистое место, и кладем посреди улицы, и над ним, бедным, уже хлопочут другие люди. Я раскосую спросил по-английски: «Where are you from? from Mexico?» Откуда, мол, ты? Как чувствовал я, что она издалека. Она отвела прядь волос от лица. Прищурилась сильнее. Круглое лицо стало совсем тарелка. «From Thailand», — сухо сказала мне она. Таиланд, я понял, тайка. «What are you doing in Mexico». Спросил я ее: «А что ж ты делаешь в Мехико?» «I live here», — так же сухо отвечала она. «Живу я тут».

<...>

В Бангкоке тайка привезла меня в родительский дом. «Родительский» — это пышно сказано. И «дом» тоже чересчур напыщено. Крохотная нишкая хижина, внутри сидит сморщенная старуха. Бабушка тайки. А вот посудой она сервировала стол — закачаешься. Чуть ли не мейссенский фарфор. Я обомлел. И на сморщенной лапке у бабки ярко горел королевский перстень: гладко обточенный золотистый кабошон, громадный, хищно-тигриный. Тайка выцедила сквозь зубы: мы раньше были богатые, потом враз обеднели. Я не выпытывал почему. Она сама сказала, ночью. У нее отец совершил преступление, убил англичанина. Его судили и приговорили к расстрелу. Мать сошла с ума. Еще у тайки было два младших братца — они утонули в канале. Хотели покататься в джонке, лодочник зазывал их, они прыгнули, да мимо — сразу захлебнулись. Осталась одна бабка.

«Так что ж ты бабку одну бросила?» — спросил я ее, обнимая и утыкаясь носом ей в пахучие, как лилия, влажные волосы. «Ничего, — отвечала тайка, — бабка у меня крепкая, как обожженный кирпич». Мы спали допоздна, бабка нас не будила. Может быть, старуха думала, что я внучкин жених. А может, и муж; старуха молчала, нам под кожу не лезла, курила маленькую трубку с длинным тонким чубуком. В воздухе расплывался странный дым. От него голова кружилась, как от спирта. Я спросил, что старуха курит. «Опий», — лаконично ответила тайка.

Мне эта Азия встала, как рыбаья кость, попе-

рек глотки. Раньше грабил я, а теперь, в Бангкоке этом, ограбили меня. Вытащили последнюю. Я понимал, что когда-нибудь и эти краденые капиталы закончатся; но я не думал, что так быстро. Я прикидывал: еще на полгода хватит, даже на год. А тут вдруг — фук! — и все стогрело. В чужих руках. А не ты один вор, братец! Другой цыпленок тоже хочет жить! Цыпленок жареный, цыпленок пареный... пошел по улице гулять... Его поймали... арестовали... велели паспорт показать... Тайские ловкие воры украли у меня из кармана бумажник со всеми деньгами и с паспортом. Я был беспаспортный цыпленок. Теперь я никому бы ничего не доказал. Скажешь, надо было пойти в русское посольство, сдаться? Да! сдаться! легко сказать. Сдаться, это же легче легкого! Один запрос в Москву — и меня бы вычислили сразу. Кто знает, может, человек из Кремля, тот, что мне помог улизнуть от пожизненного срока, уже умер? И меня теперь никто не защитит. Я ведь никому не нужен! А живем мы все очень мало. Крак, и оборвется нить. И попробуй что кому докажи. Машина перемелет тебя. Станешь костной мукой. Фаршем станешь, северным, мерзлым. Мороженым, тухлым, вчерашним.

Никуда я не пошел. Я тихо, на рассвете, ушел из тайкиного бедняцкого дома. Бабка спала. Тайка спала. Пальмовые листья спали — ими была укрыта хижина. Спал роскошный фарфор за стеклом в старинном шкафу красного дерева. Спала сиамская кошка в дырявом, ободранном кресле. У кошки будто обожгли морду, лапы и кончик хвоста. Вымазали в саже. Я не сказал тайке, что меня ограбили. И не разбудил ее, чтобы попроситься.

И вот я на улице.

Впервой мне? Не впервой? Да все равно.

На самом деле мне было не все равно. Тогда я еще хотел жить.

Язык этот, опять чужой язык! В испанском я хоть итальянские словечки ухом ловил. А тайский? Абракадабра. Не все понимали по-английски. Я, бать, прибил к продавцу жареной рыбы. Он не только рыбу продавал. А еще много всякой морской всячины. Печеных трепангов, вареных омаров, мелко рубленные осьминожки щупальца, соленые длинные водоросли. Море кормило его. А он кормил меня. Продажа

моя шла плохо. Я не мог зазывать народ. Сидел на корточках перед плоскими блюдами и жаровнями, разводил руками. Дым вился над жаровней. Рыбой пахло остро, сначала аппетитно, слюнки текли, потом омерзительно. Я деревянной лопаточкой переворачивал на сковородах рыбу. Один бок поджарился, давай жарь другой! Я удумал приплясывать возле жаровен. Ну, чтобы народ внимание обращал. Не могу говорить, так хоть плясать могу! Даже русского плясал. Ну, вприсядку. Тайцы хохотали. Собирались возле меня. И, делать нечего, покупали рыбу и трепангов. Я ловко сооружал из пальмовых листьев пакетики. Когда проголодаюсь, уйду в подворотню, там с ладони, как кот, горячую рыбу ем. Дую на руку: горячо. Рот обжигаю. И соли не надо: плачу. Слезы сами льются.

Вот какой я стал слабый, бать.

А что веселиться? Кто я? Никто. Беспаспортный чужеземец. Продавец морской жарехи милости ради приютил меня. Не старый еще мужик, а как старик, до того морщинистый. Будто ему лицо взяли, намочили и выжали. Такой мятый. Я сначала принюхивался: не алкаш ли. Нет, вроде не пил. Сначала. Потом я накрыл его. Поймал с поличным. Жил он в маленьком таком домульке на краю канала, и океан рядом. Сам рыбу ловил. И другую водяную всячину. Как потопашь, так и полопашь. Натуральное хозяйство. Дрыхли мы в одной комнате. Другой просто не было. Дико пахло рыбой, йодом и гнилыми водорослями. И открытая дверь не спасала: снаружи тоже несло тухлой водой. Я сделал вид, что уснул. Гляжу, мой молодой старик тихо поднимается с топчана, движется к окошку, наклоняется и вынимает что-то из-за шторы. Бутылка! Я видел, блестит. Он пил из горла. Отхлебывал, жмурился. Пьяницы во всем мире одинаковы. Выпьют — и песню заводят, и море по колено. Когда рано утром он ушел с сетями на канал, я встал, пошарил на полу и вытащил эту бутылку. И, бать, чуть не умер. Чуть не выронил ее из рук. Там, в ней, внутри, за стеклом, плавали две дохлые ящерицы! Я плюнул. Провались все на свете! Гекконы! Водка на гекконах! Я слышал о китайской змеиной водке; я сам давно, в Москве, еще когда богатым художником был, пил водку, настоянную на пустынном скорпионе, мне

из Туркмении в подарок привезли. Но гекконы — тьфу! Я поставил бутылку на место. Настежь открыл дверь. Ворвался сквозняк, свежий ветер с реки, с залива. Я очень хотел искупаться. Все равно где: в канале, в лохани, в море, в реке, в бане, в душе. Почему-то вдруг ощутил себя с головы до ног грязным. Грязным и чужим.

Чужим, бать, самому себе.

И так вот до скончания века? Здесь, продавцом жареной рыбы? Быстро морщинами покроюсь. Как мой друган. Тайскому языку выучусь. Тогда нам со стариком жесты не понадобятся. Будем вместе лакать водку, настоянную на гекконах, заведем синеглазого кота с обгорелой мордочкой и лапами, выпачканными в саже, я буду слушать его стариковские байки о старом королевстве Сиам и сидеть перед ним молча, горбиться, сгибаться еще сильнее, сильней, так, что лоб будет касаться голых колен, и опять плакать, плакать. Потому что только одно это и остается.

Потому что я никогда не вернусь на родину.

Родина, бать! А что такое родина? Сейчас родину продать можно быстро и выгодно — и не только за ломаный грош или за понюх табаку. Одна русская знаменитость — я прочитал в английской рваной газете: подобрал ее с земли, рядом с жаровней, отряхнул от пыли и жадно прочитал, — так вот, этот знаменитый на весь мир русский парень так и заявил: «Я покидаю родину к чертям собачьим, она, поганка, не нужна мне, ее национальная идея — это совсем не Бог и народ, это насилие, наглость и хамство». Вот тебе и раз! Допрыгались! А я, кто я тогда такой? Насильник, хам и наглец? Или все-таки кто-то другой?

Сидел я со своими жареными рыбами у жаровен. Торговля моя шла все бойчее. Сыпались мне под ноги люди, разные люди! Сыпались, как зерна из дырявого мешка! Я ловко переворачивал рыбу деревянной лопаточкой, выхвлялся ее румяными, масляными боками. Кричал: «Пла янг, пла янг!» Рыбка жареная! И тут подошли люди в длинных, до земли, хламидах. Я понял: служители культа. Священники, а может, монахи. Затылки бритые. Плащи темно-вишневые, складки струятся. У одного накидка ярко-красная. Как старый советский флаг. Эти круглые бритые затылки под солн-

цем блестят. Будто маслом намазали. Самый раскосый из монахов купил сразу много рыбы — я еле уместил ее на широком пальмовом листе. Они отошли в сторону и аккуратно, вежливо ели. Плевали рыбьи кости в урну. Вытерли рты и руки носовыми платками. Все чинно. Я уж думал, они сейчас уйдут. Один монах, самый широколицый, шагнул ко мне. Улыбался. Я ему тоже улыбнулся. Так оба скалимся: он стоя, я сидя на железной табуретке. Огонь под жаровнями полыхает. Головни тлеют. Надо бы подложить дров, а тут стоит этот лысый и глядит. Я развел руками: мол, извини, брат! И стал кидать в пламя бамбуковые дрова.

А он сделал ко мне еще шаг и положил ладонь мне на темя.

Я так и замер. Ну, думаю, удостоился благословенья! Робко лицо поднял. Монах на меня пристально глядит. Я — на него. Батя, знаешь, друг другу глазами много чего можно сказать. Даже целую жизнь рассказать. Вот я и рассказал. Я не хотел! Но рассказал. Так получилось. Монах прикрыл глаза. И так стоял. Руки с моей головы не снимал. Его темно-красный плащ шевелил соленый ветер. Когда он снял руку с моей головы, он сказал мне только одно слово.

Я его понял.

Но я тебе его сейчас не смогу перевести. И сказать не смогу. Забыл.

Но тогда я все понимал. Как собака: все понимает, а говорить не может.

Монах подал мне руку. Я вцепился в нее и встал. Он поднимал меня с земли, и я вставал. И я понимал: сейчас он пойдет, и я пойду за ним. Они все пойдут, и я пойду вместе с ними.

Туда, куда поедут и пойдут они.

Просто так сложилось. Звезды сложились, роза ветров.

Я шел за ним, уходил, и за моей спиной оставались жаровни с дымящейся рыбой, банки с соленой ламинарией, трепанги в котле, и этот огонь, бешеный, прозрачный на солнце и на ветру, под огромными черными сковородами. Я сам изжарил свою судьбу и сам сожрал ее.

<...>

Помни о конце мира, так говорили монахи? А что о нем помнить? Ну придет и придет,

эка невидаль. Умирает отдельный человек, и умирает мир. Он ждал своей очереди — в посольстве, в отеле, на вокзале. Людей было так много, что сразу не происходило ничто. Всегда надо ждать. Может, в небесных глубинах и есть мир, где ждать не надо. Кожаный модный чемодан был гораздо импозантнее и внушительнее, чем он сам, исхудалый, печальный, чересчур загорелый. Когда он увидел себя в вокзальном зеркале, он изумился: он стал раскосым, как все эти здешние люди. Мимикрия! Человек приспособливается ко всему, и меняется его облик. И пластику делать не надо, посмеялся он над собой, теперь и без операции его на родине никто не узнает. Его, убийцу и злодея! Деньги совершили, как всегда, невозможное. Он снова гражданин своей страны; и он сейчас сядет в поезд, чтобы приблизиться к ней, чтобы въехать в нее и оказаться в ней, внутри, — пусть ее люди, ее дома и снега опять обнимут его и, может, простят.

Он погрузился в поезд. Место в купе, и улычивые проводницы разносят чай и сладости, и он долго, удивленно глядит на странные изделия из теста, лежащие на кружевных салфетках на стальном подносе: что это? Ему улыбаются в ответ. На смешном русском языке раскосая проводница любезно отвечает ему: «Уважаемый господин, это русские пирожки! Пирожки с капустой! А это пирожки с грибами! А это пирожки с зеленым луком!» «Пирожки» она произносит как «пиросики». Марк хватает с подноса пирожок и нюхает, и, сам себе изумляясь, целует. «Не нюхайте, — весело говорит раскосая молоденькая проводница, — все очень свежее!» А ему кажется, она говорит ему: «Не плачь, сынок, все это вечное, все это теперь навсегда с тобой».

Он купил у проводницы весь поднос с пирожками. Двухместное купе — о, кажется, в России, раньше, это называлось СВ. К нему никого не подсаживали. На границе долго, до тошно проверяли документы. Марка тщательно сличали с его фотографией во вновь выделанном паспорте. Когда железные рельсы серебрано, дико побежали, заструились по Сибири, он обнял себя за плечи: они тряслись. Забайкальск! Чита! Улан-Удэ! Это уже Бурятия, шептал он себе, это Бурятия, я ведь еду по Рос-

сии, по России! Заснеженная тайга напознала на железную дорогу, домишки близко подползали к сверкающим под солнцем рельсам. Синева небесная, почти как в Акапулько! Нет, как в Тибете! Он закрывал глаза, брал в пальцы пирожок, опять нюхал его, кусал, ел и плакал, запивая холодным сладким чаем, это был пирожок с капустой и рублеными яйцами; и он давил капусту зубами, и катал вареный белок под языком, и смеялся бешено мелькающим елям и кедром за разрисованным морозом окном.

Когда поезд подкатил к Иркутску, Марк отважился и пошел в вагон-ресторан. Он сказал себе, опять со смехом: «Только не своруй ни у кого ничего, иначе тебя из страны вышвырнут». Прошел железными анфиладами вагонов, мотающихся, как белье на ветру. Набрел наконец на вагон-ресторан. Запахи еды ударили в голодный нос. Он сел за столик и развернул меню. Страница по-английски, страница по-китайски, страница по-русски! Он пялился в русские названия блюд, с наслаждением проговаривая их про себя. Уха из судака! Блины с красной икрой! Он заказал порцию борща, лангет, кулебяку с вареным лососем и бутылку красного вина. Официантка принесла бутылку, он повертел ее в руках, это было русское вино, на этикетке он прочитал: «Ставропольский край». Они мчались по Транссибирке, Иркутск, с его старинным, похожим на царский дворец вокзалом остался позади, тайга то наступала, то смыкала строгие хвойные стволы, а небо все так же лихо, люто светилось невероятной, густейшей синевою. Марк упоенно хлебал борщ казенной столовой ложкой, он дышал борщом, так дышат смертельно больные целебным кислородом из резиновой подушки, да, он опять потешался над собой, неужели так дорог не только язык, не только воздух и эти деревья за окном, но даже простая еда, а он ли не едал в мире всевозможных пикантных яств, и омаров, и трепангов. Официантка приходила и глядела, как он ест. Он жестом пригласил ее присесть к нему за столик. Она присела, расправила на коленях юбку. Марк дожевал лангет и пододвинул кулебяку халдейке. «Выпейте со мной! И закусите». Он с ужасом слышал, что говорит по-русски с акцентом. Официантка опасно косилась на него.

«Думает, что я иностранец. И что я заманю ее к себе в купе». Он, успокаивая ее, налил себе вина в пустой стакан, ей – в бокал, стукнул стаканом о бокал и положил руку на ее руку. «Не бойтесь! Расслабьтесь! Я не кусаюсь. Я русский. Просто я давно не был на родине». Женщина слабо улыбнулась. Ее улыбка не была улыбкой Будды; она улыбалась робко, доверчиво, чуть испуганно, губы ее дрожали. Может, у нее внутри жило какое-то свое молчаливое горе. Они оба выпили, Марк разрезал на куски кулебяку. Потом они пили чай. Он весь вечер сидел в вагоне-ресторане и наблюдал, как люди приходят, едят и уходят. Ничего слаще и лучше этой картины он не видал в жизни. Мало кто говорил по-китайски. Почти все говорили по-русски.

Красноярск, бурливый зимний Енисей, мутно-изумрудный, и пар стоит над ним, будто в скальных берегах течет, шумя, жуткий кипяток! Горы и кедры. Пристани, вмерзшие в лед. Железный ажур моста, пугающего мрачной мощью. Дымы над городом, над скопищем камней и людей, грохот дорог, отчаянные крики машин: гудят, как стонут! Мир, это был его брошенный мир! Его покинутая страна! Какой она стала? Он не знал. Он ехал по ней, катил, сцепив зубы, и поезд болтало с боку на бок, то бортовая качка, то килевая, а перед железной грудью тепловоза снежный океан, и вот он опять в морозной, вечно зимней своей стране, и опять нельзя согреться, и надо разводиться костер, разжигать дрова, а в огонь подкладывать себя и только себя! Лучшее топливо в мире – это человек! Где Бог? Он в человеке. Где ненависть, любовь? Они тоже в нем. Чтобы их из человека вынуть, нужно его разрезать! Убить! Нужно их – у него – своровать!

Украсть и бросить в мировой костер! Лучшее горючее, что ни говори!

Дни бежали, провода поверх состава мотали тонкие нити, время тянулось и сматывалось в клубок, и Марк потерял счет времени. А собственно, зачем было время считать? Оно не имело веса, как деньги, как все краденое или даром доставшееся. Он прислушивался к себе: хочется ли ему украсть. Залезть в чужой карман. В чужую жизнь. Он слышал внутри себя молчание. Нет. Не хотелось. По крайней мере

пока. Москва возникла незаметно, заколыхались в туманном выюжном воздухе каменные водоросли. По дну снежного океана он подползал к Москве, и ему было все равно, въедет он в нее или поедет дальше; поезд мчался, и мчался в нем он, и ему казалось, это будет вечно. Как это говорили чудесные монахи в цыплячье-желтых, густо-малиновых, жгуче-красных одеяньях: ничего этого нет! Нет этой дороги, этих рельсов, поезда этого, гудка, что рвет ветер напополам; нет и его самого, а он-то еще слушает свои мысли, и оценивает их, и презирает их, и любит ими, и плачет над ними.

Он не узнал Москву. Он потерянно гляделся в ее многослойное зеркало и не видел там сам себя. Он гляделся в ее витрины, в воду ее реки под ее мостами, в лица ее людей, и даже не ее, а тех, кого сюда временно забросила ветреная, выюжная жизнь; он мотался по улицам, не знал, где переночевать, сон как рукой сняло, настала страшная и пустая бессонница, и снова, как всегда, не было денег, и люди, спешащие мимо, выглядели тверже дерева, а на ощупь так и совсем стальные были. Одну ночь он ночевал на вокзале; тут уже не спали никакие бомжи, все было чинно-прилично, храпели в железных креслах новые пассажиры, бесшумно плавали по мраморному залу новые уборщицы, возили щетками по зеркальным плитам. Другую ночь он решил провести в метро; забрался в тоннель, спрятался; его поймали, осветили ярким фонарем. Выволокли на волю из-под земли. Чуть пинка не дали. Он уже согнулся, готовясь к удару ногой под зад. Еще одна ночь обняла его крепкими черными руками в чужом подъезде; он стоял у чужой батареи и грел об нее ладони, щеки и нос. Его шуганула скандальная тетка; она высунулась из двери, увидела его и завопила на весь подъезд: «Шатающца тута! Дряни во нючие! Одяжки подзаборные! А ну-ка вон отсюдова! Штоб тебя больше тута не видали! Забудь этот адрес, падла!» Он вздрогнул всем телом, плотнее запахнул в пальто, чтобы сохранить тепло, и вышел в метель. Его китайские новехонькие башмаки совершенно не подходили под русские морозы.

Настала такая ночь, с которой пошел новый отсчет его старого, давно уж похороненного им времени.

Он нарвался на воров.

Ну да, на обыкновенных уличных воров; оказавшись среди них, он вспомнил себя, мальчишку, и усмехнулся: вот, прибыл к тому, с чего начал. Жизнь и правда совершила странный круг. Он, взрослый, уже стареющий мужик, был мало похож на того шкета-форточника, что шнырял по ночным чужим квартирам в мрачном городе на холодной реке; однако вору обладали чутьем, и они того прежнего форточника в нем распознали, более того, узнали в нем бывалого ворюгу, и, как он ни отрицал свои таланты, вору хором пели вокруг него: наш! наш! и не ломайся, как слобный пряник, наш ты, и все тут!

Так странно, так дивно и быстро стирались с ладони, как мел или варенье, прожитые годы. Стиралась память; она слизывалась теплым, шершавым собачьим языком настоящего. У простецких воров сияли на плечах разные лица. Они то вспыхивали, то гасли. Кто больше молчал, кто трещал без умолку, кто шамкал беззубо, кто злобно сверкал всеми молодыми, бешеными зубами, — все были живые люди, и все хотели жить. Они, каждый, были виртуозами своего опасного ремесла. Марк внимательно следил за тем, как молодой парень крадет из сумки кошелек в битком набитом трамвае; как бесшумно открывает сложнейший финский замок универсальной отмычкой древний старик с ухмылкой бесенка. Он пока только следил, но на него уже глядели выжидательно, от него ждали действий. Он показал, на что способен. На окраине города, там, где уже не дышали черной влагой зевы метро, а только длинно, хулигански свистели электрички, он поздним вечером забрался в пустую квартиру, обчистил ее, удачно отыскал, где хранились деньги, ловко исчез и не оставил следов. Будто лис зимой, следы хвостом замел. Вожак похлопал его по плечу и подмигнул ему: будешь, будешь с честью есть свой хлеб!

И ему отстегнули от доли, положенной в общак; и он купил себе водки и закуски, и все сидели на задворках у большого костра, и он сидел вместе со всеми, — да не вместе: спиной ко всем, отвернулся, один подносил бутылку ко рту и отхлебывал, и один закусывал, откусывал прямо от батона колбасы, не резал ее

ножом, и вожак тихо сказал: «Отзыньте, не гудите ему в уши ни о чем, не видите, в натуре, без базара, мужик сам с собой хочет побыть. Пустите душу на волю!»

И все пустили его и его душу на волю.

Марк пил водку у костра и думал: высокие, во власти, люди друг с другом играют в воровские игры, воруют друг у друга, воруют у страны, страну уже всю обворовали; они там наверху крадут напрапалую, а я, я-то чем хуже? Не хуже я: лучше! Они там суют друг другу безумные деньги, чтобы забраться выше, выше, на самый верх, а я всего лишь залезаю в чужой карман. Кто же честнее? И кто — беднее? Я — преступник?! Нет, никакой я не преступник. Я — озорник! Я просто живу своей темной жизнью. Да, я жесток! Я не жалею тех, у кого ворую. Мне плевать на них! Мне лишь бы выжить, мне. Сегодня я украл — и жив! Разве это не счастье? Оно мое! И больше ничье! Подите прочь! Подите вы все к лешему! Человек прав, пока он живет! Вот помрет — тогда обвиняйте его! Распинайте! Вычисляйте, что он так сделал, что сделал не так! Зовите ваших судей, прокуроров! А я — сдох! Удрал от вас, праведников. Я — на свободе! Я и сейчас на свободе! Я свободен, и только вор по-настоящему свободен, и я сделал свой выбор!

Воры не всегда были довольны им и его работой. Придирались к нему. Искали врага и нашли его в нем. Они сказали ему: ты виноват, что нам плохо! Он согласно наклонил голову: да я разве спорю. Они пригрозили: уберем тебя с дороги! Он улыбнулся: да я разве против. Только явись к нам на хазу, кричали ему, от тебя не останется мокрого места! На него показывали пальцами, угрожающе скалились. Подходили и давали ему пощечины. Он даже не уворачивал голову. Так стоял, пощечины сыпались. Потом один, тот, кто бил последним, ударил сильнее, и Марк упал на пол. Прежде чем потерять разум, он увидел: по половице ползет крупный черный паук. Паук полз прямо к нему, и Марк еще успел удивиться: как великолепна жизнь даже в малых, жалких своих проявлениях.

Очнулся он в придорожной канаве. Рядом с ним тек грязный ручей. Вся его одежда вымокла. Сначала он встал на четвереньки, потом от-

толкнулся ногами и встал во весь рост. Озирался. Места были ему знакомы. Вон в том доме они, воры, собирались, чтобы поделить добычу и погулять вволю. Он отряхнул грязь и сырой снег с колен, живота, боков, плотней запахнулся в потертое пальто и пошел туда, куда ходить ему было не надо.

<...>

Выходило так, что он шел сверху вниз. Вверх, вниз, таков рельеф земли; разве можно предугадать, куда ты свернешь на этот раз? Он понимал: вниз идти легче, чем вверх, но снизу будет уже трудно подняться. И что дно было таким ровным, гладким, оно вспучивалось теплой темнотой, дышало белым равнодушным холодом, изредка покрывалось нежными морозными узорами, там вповалку лежали чужие сапоги и башмаки, чужие рубашки и пиджаки, и использованные шампуни, и надкусанные тухлые пироги, а может, еще съедобные, и скисшие, когда-то соленые огурцы, и когда-то ангорские, а нынче траченные молью свитера, и разломанные театральные бинокли, и сумки из натуральной кожи (в них голуби свили гнездо), и подозренная труба с разбитым окуляром, и варежки с отрезанными большими пальцами, и несвежие куриные потроха в крепко увязанных прозрачных мешках, и позолоченные багеты с тяжелой красивой лепниной, и косметички с замерзшими помадами, с навек застывшими блестками для век, тенями и тушью, — да, это была городская свалка, одна из множества столичных свалок, и это вещевое месиво было шикарнее и круче любого секонд-хенда, тут можно было жить, спать, есть, пить, одеться, всем чем угодно поживиться, прихватить с собою кое-что в подарок тому, у кого в жизни не было уж совсем ничего, — а зачем говорить, что ты все это великолепие на свалке нашел? Зачем открывать миру свои тайны? Береги тайну. И свалка сбережет тебя. Так все просто.

Марк быстро привык к свалке. Свалка стала родным домом, только без крыши. Днем, при тусклом свете молочного крохотного солнца, он бродил по горам мусора, по холмам хороших и жалких вещей, рылся в них, ковырялся,

откладывая в сторону то, что можно было съесть или надеть. Он нацеплял на пальцы массивные золоченые перстни. Вешал на шею грузные, с крупными звеньями, бандитские цепи. Гляделся в найденное в грязи дамское зеркальце: из куска стекла на него глядел птичий глаз и птичий клюв, и он принимал себя за голубя.

Часто сидел, обрядившись в найденное, на вершине мусорной горы; раскидывал руки, подставлял тусклому солнцу лицо, обонял вереницу запахов, и чарующих и отвратных, и к нему, застывшему неподвижно, прилетали голуби. Они, может, принимали его за деревяшку. За деревянный крест, за чучело. А может, наоборот, жаждали несмелого тепла, человеческого воркованья. Голуби садились ему на плечи, на руки, на колени, на затылок. Трепыхали крыльями, сизыми и белыми. Один прилетал мощный, крутогрудый, с мохнатыми белыми лапками: турман. Он потерялся. Все голуби были бродяги, а этот царь. Голуби подолгу сидели на неподвижном Марке. Он боялся шевельнуться. На его лице застывало тихое блаженство. На свалке он научился сам себя стричь, даже в зеркало не глядя, ржавыми, замысловато изогнутыми старинными ножницами; а потом и брил сам себя, вот он станок, а вот и лезвия Gillette, тупенькие, конечно, да это ничего, можно ради красоты потерпеть. Его голова напоминала неряшливо ободранный ананас. Порезы плохо заживали, медленно подсыхала кровь. Располованная кожа мерцала гладкой синевой, щетиной, поросячьей розовостью; главное, волосы в глаза не лезли, и на том спасибо. Голуби не удерживались когтями на бритой башке. Требовалось надеть шапку. Марк напяливал курчавую кавказскую папаху, вытертую, без подкладки, папаху воняла собачьей мочой. Голуби любили, когда он надевал папаху, вцеплялись в нее, сидели, ворковали, взмахивали крыльями.

А чуть яркий луч ударит, гудок раздастся, щелчок, дальний крик — голуби разом, сизой светлой тучей, вспархивали с его плеч, рук и головы, и он, закидывая лицо, долго следил, как они тают, гаснут во вьюжной тоске, в великой синеве. Порхали, сияли, светились, бормотали свое! Улетали навек! Сиянием вставляли

вокруг его голой, бритой головы, и отсветы от голубиных крыльев ходили по израненной тупым лезвием коже, по впалым щекам, по лбу в извивах морщин. Голуби, вы прилетите еще! Вы меня не забываете! И я вас тоже не забуду.

Он приготавливал им еду, размачивал горбушки черствого хлеба в просроченном молоке, насыпал в жестяные миски гречку и рис, и так сидел и ждал. Когда голуби прилетали вновь, он им молился.

Однажды он захотел чаю. Просто горячего чаю. Он целый век чаю не пил. Разыскал на свалке початую пачку дешевого чая, нашел и чайник, старый и смешной, в таких рыбаки до войны с немцем чай на берегу кипятили, со смородиновым листом и мятой. Воду добыть — нехитрое дело: вон сколько снега вокруг! Набил снегом чайник. Развел костерок. С ворами он наглядился на живой огонь. Странно катилось время: где-то летели по рельсам поезда, в небе кувыркались самолеты, в духовках пеклись румяные пироги, а он сидел тут, у живого, старого как мир, бедного огня и грел над ним голые красные руки. Снег в чайнике быстро растаял. Скоро вода закипела, Марк наблюдал, как со дна поднимаются и на поверхности лопаются пузыри. Представил себя самого этим пузырем. Со дна взвевается и лопнет! Заварку он бросил прямо в чайник. Кружка у него тут тоже завелась: шикарная, расписная. С ее бока на него глядел белый голубь. Он раскидывал крылья. Над голубем будто детская рука коряво, шатуче вывела: «ДУХЪ СВЯТОЙ». Марк подцепил ручку чайника спущенным рукавом теплой куртки и налил полную кружку крепчайшего чаю. Отхлебывал, жмурился. Что тебе цифирь! Пил и медленно пьянел. Вспомнил свои севера. Сиянье голубиное. Крылья неба. А что, хватит уже топтать по земле. Может, надо уже пожитки в дорогу собирать. В самую главную.

Подумал об этом — и кружку ото рта отнял. И на колени поставил, и коленями сцепил. Железо кружки прожигало брюки. Марк глядел на свои башмаки. Здесь нашел. На брюки. Здесь отыскал. На кружку и коричневый чай в ней. Здесь обнаружил. Все здесь. Свалка ему подарила все. Как же ему ее не любить?

И разве, кроме свалки, он найдет сейчас кого-то ближе, роднее?

Спал он в шалашике; утеплит его со всех сторон разным тряпьем. Ляжет, в клубок свернется, надышит — вот оно и тепло. Правда, бывали дни, когда он просыпался и еле разгибал руки и ноги, сведенные холодом. Краем сознания он понимал: еще год, другой такой жизни — и загнется он, вместе с голубями в зенит улетит.

«А что, и улечу. Разве нельзя?»

На самом дне жить — с волками, с собаками выть. Собаки прибегали часто. Иные его кусали за ляжки. Он отгонял их, швырял в них камнями, вещами и скомканными бумагами. Бросал им съедобные куски; потихоньку собаки привыкли к нему. Из леса, ближе к весне, приходили волки. Они не приближались к свалке. Марк слышал их вой поодаль, и все волоски на его отошлом теле вставали дыбом. А потом он и к волчьему вою привык. И жалел волков. Собаки, только дикие. И так же, как мы, есть хотят. И так же, как мы, ласкаться и любить.

Он уже не хотел любви и ласки.

А может, просто себе не признавался в этом.

Дно перейти вброд. Зачем? Не лучше ли залечь на дно? Залечь на грунт? Вода сомкнется. Никто не просветит острым взглядом такую глубину. Дно илом затянет. Смерть — это океан. Все спокойнее он думал о смерти. Она вставала перед ним грозовой тучей, ложилась послушной собакой. Не выла, хвостом не виляла. Лежала, как каменная. И он мог ее всю рассмотреть.

Совсем не страшная. Жесткая. Железная на ощупь. Железные кости. Железо хрупкое, не ударяй кулаком, рассыплется в прах. Глаза под мертвым собачьим черепом живые. Смышленные. Все понимают. Она все понимает, смерть, про тебя. И про себя тоже. Зачем ей слова? Она ждет, когда ты сам так устанешь говорить, что рот твой станет землей и глаза твои станут землей. Ты будешь глядеть, а из глаз твоих будет глядеть земля. Разве мы боимся землю? Разве земля боится нас?

Руки его рылись в вещах, он повторял себе слова красных монахов: ничего этого нет, нет. Однако вещи были, они бугрились под руками. Однажды вещи раздвинулись, и на их дне он увидел ребенка. Девочку. Девочка спала. Она зарылась в старые вещи и гнилые отбросы, и ей

стало тепло. Вещи и еда отдавали ей свою жизнь. Марк дрожащими руками отодвинул с ее лица дырявую козью шаль. Восточное личико, какое нежное! Она не просыпалась. Но мертвой она не была. Тихо дышала. Он вскипятил свой ржавый чайник. Заварил чай. Поднес к холодным губам девочки свою железную кружку. Тыкал кружкой ей в рот. Она стонала и отворачивала лицо. Потом глотнула из кружки. На ее лице нарисовалась улыбка. Марку показалось: это голубь слетел и мазнул ей по губам крылом.

Он взял девочку на руки. Маленькая, худенькая. Он давно уже не мог определить возраст никакого человека. И свой тоже. Откуда ты, бродяжка? А может, ты из приличной семьи? И про приличия он тоже уже ничего не знал. Земля стирала перед ним грязное белье в снежном чане. Метель стирала все различия между волей и тюрьмой, кражей и святостью. Он вдруг захотел отдать этой малышке, дрожащей на его руках, все, что он когда-либо своровал и присвоил.

Девочка дышала часто и молчала. Улыбалась. Марк прижимал ее к груди. Тихо с небес слетал снег. Он слышал толчки ее сердца. Она казалась ему котенком. Откуда-то он знал ее. Помнил. Но, когда он пытался вспомнить ее, она улетала у него из рук веселым голубем.

Они стали ютиться на свалке вместе с бродяжкой. Он все время всматривался в ее лицо: все еще пытался узнать. Время молчало, не раздвигалось перед ним. Он находил ей в кучах объедков лучшие куски. Угощал ее с ладони. Она молча, улыбаясь, брала. Ела не спеша, деликатно. Слишком поздно, трудно, он понял: она немая. Вдобавок, она плохо слышала. Глухая и немая, вот чудеса! «Голубка, — шептал он, — голубка».

И верно, она слетела к нему с небес. Легчайшие облака еще не успели прогнать. Ветра еще не свились в грязный бельевого ком. Широко раскинутые крылья, открытая всем пулям птичья грудь. Губы клюют, острый глаз глядит в будущее. А может, в прошлое. Такой глаз лучом просвечивает всю толщу воды, до дна. Глаза в глаза! Гляди! Ты все равно не вспомнишь этого ребенка. Он послан тебе, чтобы ты все забыл.

Тот, кто все забыл, свободен и счастлив.

Ты когда-то был вор; а сейчас ты — счастье и свобода.

Так дари их людям. За пазухой не держи.

С маленькой глухонемой девочкой, черненькой, нежной и смуглой, он иногда выбирался со свалки туда, где жили люди: к домам, к дорогам. Машины пыхали бензином. Вывески рьяно горели во тьме. С девочкой на руках Марк подходил к придорожным ресторанишкам, видел, как за окнами, за раскрытыми в ночь дверями пылают и полыхают чужая наглая жизнь: тела, обсыпанные блестками, лукаво изгибались, бесстыдно обнажались, руки жестоко срывали одежды, рты многозубо хохотали, женщины, похожие на скользких рыб, уплывали прочь от мужчин, что уже задорого купили их, и вино, и жаркое. Все любили и умели наслаждаться. А вокруг сгушалась нищая тьма, гудели заляпанные грязью легковушки и грузовики, железные коробки сталкивались на каменном стрежне, напоздали друг на друга, холод пробивали огненные свистки и яростные вопли, и когда все кончалось, вдоль шоссе тек одинокий черный ручей, тихий бедный плач. Марк не показывал девочке красивую и злую жизнь за стеклами больших окон: он закрывал ей ладонью глаза.

Они возвращались на свалку, и жизнь входила в русло. Марк заботился о немой. Немая улыбалась ему. Так они, каждый, дарили себя друг другу.

Часто они сидели так: Марк брал ребенка на руки, прижимал к себе, девочка спускала ноги с его колен, он ощущал на коленях живую детскую тяжесть и радовался ей. Так они могли часами сидеть, молчать. Слова им были не нужны. Он держал на руках жизнь.

Сидели так однажды. Вдруг сердце у Марка заболело. Застучало с переборами. Он прислушался к стуку внутри. Уловил в этом стуке забытую тоску. Нет, он не вспомнил имя. Не увидел давние прозрачные глаза. Он ничего не увидел. Девочка глухая и немая, а он ослеп. Слепла его душа. Зрение он не мог своровать ни у кого. Времена изменились, сместились. Он не узнавал свое время в лицо. Не видел его. Из тепла ребенка на его коленях, из глухой тоски родился настойчивый стук, он повторялся,

звучал внутри, бил мерно и медно: ДОМ. ДОМ. ДОМ.

Будто сотни, тысячи голубей слетели к нему с небес и облепили их обоих, уселись на них, били крыльями. Светили, светились. Птичье горячее тельце девочки о чем-то молча говорило ему. И он, обнимая ее, понял, что всю жизнь, по всем градам и весям, по всей земле, и великим и малым странам ее шел домой. Домой.

ДОМ. ДОМ. ДОМ — стучало под старой курткой сердце ребенка.

А может, его собственное.

Он стал ребенком. Он вернулся в себя и боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть себя самого.

Это девочка, как мать, держала его на забытых руках; и ничего не говорила ему, потому что в смерти не говорят; там только улыбаются и плачут.

Он увидел кольцо, круг свой по широкому миру; широким поясом он обнял землю, всем собой, он не хотел, так получилось, собой он обхватил, обвертел горы и города, океаны и острова, воздух сгушался под ним, он падал в синеве, погибал и снова поднимался, он увидел себя вроде как сверху: да, живой такой пояс, со смеху умереть, землю собой обтянул, а на ком он сейчас, никчемный пояс? вот на этой теплой, живой немой девочке? как это отец над ним, века назад, шептал: живой в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится, отец шептал, а Марк думал: живой всегда, живой везде, ведь это же значит, он бессмертен, и все бессмертны, а вот бы украсть у Бога бессмертие, пусть бы Бог умер, а он бы жил вечно; и они бы все жили всегда; кто все? люди? или только его семья? бедный отец, бедная мать? он бросил их ради земли, ради того, чтобы стать живым в помощи Вышняго поясом земли или чтобы стать великим вором и своровать всю землю, со всеми ее богатствами и сокровищами — для себя, лишь для себя?

Он встал, покачиваясь, и опять пошел вперед. Со спящей девочкой на руках.

Он долго шел, свалка осталась позади, за его спиной, веером разворачивались грязные дороги, он выбирал одну из всех и медленно шел по ней, шел, глубоко дышал, устал идти, живая

тяжесть оттягивала руки, дома шли мимо него, машины ехали мимо, дымы мимо него летели и умирали, шел-шел и набрел на дом с широким пустым крыльцом, дверь слегка отъехала в сторону, ее покачивал ветер, он низко согнулся и тихо положил ребенка на крыльцо. Девочка спала. Она так и не проснулась.

Он, прежде чем уйти навсегда, еще раз посмотрел на ребенка, которого он подбросил людям.

Это мой ребенок, сказал он себе, это настоящий мой ребенок. Я узнал ее. Она похожа на меня.

Уходя, пятился. Помахал девочке рукой. Она спала и не видела, как он прощается с ней.

Повернулся и опять пошел.

Он же не червяк, чтобы ползти и пресмыкаться. Он человек.

И ловкий. И умелый. Он еще раз сворует у времени самого себя. Еще раз. Последний.

Он добрался до вокзала.

До того, на который приехал когда-то желтым птенцом, воровским юнцом.

Зайцем сел в пыльную электричку с бельмами замороженных окон. Выпрыгнул на дальней станции. Пошел вдоль рельсов на восток.

Все на восток и на восток. На восход солнца.

Шел и повторял себе хриплым, простудным шепотом: домой, домой.

В дороге у него от башмака, найденного на свалке, отвалилась подошва. Он привязал ее к башмаку веревкой.

...Бать, я привязал подошву к башмаку веревкой и так вот ковылял, так и шкандыбал не пойми как, подошва то и дело отваливалась, и я ее то и дело привязывал, прикидывал: за сколько дней я этот путь пройду? а может, месяцев? а может, мне на попутке добраться? ноги-то не резиновые, старые уже. А может, я научусь милостыньку просить? И мне будут подавать. А что, бабы, они сердобольные, они добрее, чем мужики. Мужик тебя еще с ходу в торец двинет, а баба — что баба, она знает дело тугу. Жалеет! Вот и меня, бродягу, пожалеет.

Батя, и правда, бабы встречные совали мне кто что: кто монетку, кто бумажку, кто вареную картошку в кулке, кто посыпанную са-

харной пудрой плюшку, все, что при них имелось, то и совали, бормотали: на, пожуй, бедняга! ой, бедолага! — и я, втихаря оглядывая себя, соображал: выгляжу уж очень плохо, должно быть, если так истово причитают. Одна старуха, правда, нашлась. В семье не без урода. Увидала меня, а я как раз рядом с чужим вокзалом стоял, милостыню кланчил, да как завопит: «Заразу разносят!.. Чума, холера!.. Нашествие какое этих гадов восточных!.. Дави их, гадов раскосых, вонючих!.. Работать на нас не хочет, видишь ли, побирается, старая собака!.. Езжай в свою Тьмутаракань, в свою пустыню дерьмовую, в свою Мусульманию проклятую, а нас не трогай, не мутуз!.. И так испоганили нам тут все!.. Взрываете бомбы в метро!.. Девоч наших портите!.. Да вы, гады, мировую войну против нас замышляете!.. Да что там, сволочи, вы ее уже — ведете!..» Она орет без перерыва, а я соображаю, она ведь меня за азиата принимает; что, так я зарос и так стал раскос, глаза опухли, почки уже ни шиша не тянут, глазки в щелки превратились, вот я и вызвал в ней ненависть, да такую, дай ей волю, в клочки бы меня разорвала, волчица. Я ей говорю: «Мадам старуха, вы Пиковая дама! Зачем вы так блажите? Горлышко поберегите, а то охрипнете! Никакой я не азиат и не гастарбайтер, русский я, русский, и иду я домой, слышите, бабушка, домой! домой!» И для верности еще раз повторил как заклинание: «Домой! Домой!» Она осеклась. Гляжу: стоит, не верит. Но вопить перестала. Всматривается в меня. И тут у нее губа запрыгала. И я еле различил ее шепот: «Сгинь, мужик, отсюда, пропади, не попадайся мне на дороге, вот такие, как ты, подзаборники мою внучку в проходном дворе растерзали, двоих нашли, а двое убежали, а уж такая внученька была, чудо, загляденье, еще години не было. Вечная память. Сгинь, собака раскосая!»

И я прикрыл глаза рукой и отошел в сторону. И вошел в подворотню, и сел перед сырой грязной стеной на корточки, и плакал горько.

А потом встал, и опять шел, и опять побирался. Бать, я очень долго шел домой из Москвы. Дольше, чем я вокруг всего света обкатился. Да, гораздо дольше! Обкручивался я вокруг света целую жизнь и домой из столицы тоже шел целую жизнь.

<...>

Батя, и вот я вошел в город. В свой, в родной. Что такое «родной»? Я это забыл. Я все забыл. Я медленно двигался по улицам, как во сне. Я вспоминал. Вспоминать, бать, оказалось очень больно. А я боли боялся. Я отворачивался от нее. В этих дворах я бил морду и били морду мне. В эти дома я залезал воровать. Сюда меня водили в библиотеку. Сюда — на занятия спортом. Давно погиб тот стадион. Сломаны трибуны. Весь в трещинах асфальт. Здесь собираются юнцы, чтобы выпить и покурить. Бесприютные влюбленные целуются на грязных скамьях. Я вор, но я не смог ни у кого богатого своровать счастье для своих людей и своего времени. Да что там! Для себя. Я шел и понимал: я несчастен, и единственное, что мне осталось на земле, это прийти к родному порогу. И постучаться в родную дверь. И, если мне никто не откроет, лечь на порог и так замерзнуть. Как собака.

Я, кажется, здесь заблудился, никак не мог найти наш дом, ну, не смейся, просто название улицы забыл. И как ехать, забыл, и как идти, не помнил. Кружил-кружил, блуждал, плевался, чертыхался. Все больше замерзал. Себе говорил: ну зайди в магазин какой, или на рынок, или в любой подъезд, согрейся! Ноги очень мерзли. Я то и дело привязывал веревками свои несчастные подошвы. Экие люди, хорошую обувь не могут подарить, дарят плохую. Избавляются от хлама. А другой человек этот хлам с радостью донашивает. Или нет! Донашивает, проклинает! Вот как я. Вез ногами по снегу. Шел во тьме под фонарями. За мной тянулись по снегу два следа, как от гусениц танка, я однажды обернулся и посмотрел. Как за насекомым. Будто два гигантских червя тут проползли. Фыркнул, засмеялся. Мимо бежал мальчишка с клюшкой, на каток, в хоккей играть, увидел мою улыбку, сплюнул в снег: «Фу, нищий, беззубый какой!»

Каток...

Каток, каток. Да, точно! Каток! Как он мог забыть. Каток с их домом рядом. Найти каток, а там совсем немного между домами пройти. Он крикнул вслед бегущему мальчишке: «Эй!

Парень! В какую сторону каток?!» Парнишка оглянулся и выкрикнул на бегу: «Вон туда!» Марк пошел за мальчонкой, вскоре потерял его из виду. Он теперь знал дорогу.

Он миновал каток, его ярко горящие белые фонари, искоса глянул на изрезанный коньками, прозрачно-серый, нежно припорошенный снегом лед за туго натянутой, проржавелой стальной сеткой, прошагал одним проходным двором, другим. Вышел на улицу. Не узнавал ее. Глаза шупали безмолвные стены. Молча кричали окнам: отзовитесь! Окна молчали. Зашторенные и голые, открытые настезь тьме и свету. Глаза бегали по стеклам, ловили в них отраженья фонарей. Каждый фонарь — маленькое солнце. Оно погаснет, когда закончится ночь. Человек его выдумал, чтобы освещать свою тьму.

Когда встает настоящее солнце, все поддельные солнца гаснут.

Марк шарил глазами по дверям. Все подъезды всего мира похожи друг на друга. Ободранные двери, разломанные ступени. Человек лентяй, он не может сам обиходить свое жилье.

Как войти? А вдруг здесь заперто? Он с трудом втащил свои ноги на крыльцо. Пришлось ногам помогать руками. Он брал ногу и руками переставлял ее со ступени на ступень. Так он втянул себя поближе к двери.

Черт, наверное, здесь закрыто. Сейчас везде закрыто. Надо нажимать на клавиши. Буквы, цифры. Секретный код. Он забыл номер квартиры. При чем тут квартира? Может, они все умерли, подумал он, и тут ему стало слишком холодно. Он застучал зубами. Всунул руки в раструбы дырявых рукавов и так, сгорбившись, стоял.

Мороз щипал глаза.

За ним зашуршали по льду шаги. Круглая подвижная старушка вкатилась кошачьим клубком на крыльцо, покосилась на Марка. Отодвинулась от него. «А ты, милоч, куда?» Он поглядел на старуху слепыми от слез глазами. «Я... — он растерялся, надо было что-то говорить: — Да я, да вот к Матвей Филиппычу, я... Плохо мне...» — «А, больной! — понятно заверещала старушка. — Господи ты ж боже мой, а до чево ж болезный! Кожа да кости! Ты, што ль, из приюта из какова? Из дома преста-

рельх? Ай-яй, как одет-ти, ну и одежоночка на тебе, милочек! Как ты ею в морозы-ти спасаешься! А хошь, я тебе куртешку нову дам? У мене внучок на войне тутa недавно сгиб, дык от него осталаси!» Марк молча повел в воздухе рукой: спасибо, не надо, — и тут его опять скрутил кашель. Старуха терпеливо ждала, пока он откашляется и вытрет ладонью кровь с подбородка. Он раздышался. Старуха распахнула перед ним дверь.

И он переступил порог.

Они вместе, вдвоем, он и круглая, как мяч, старуха, дошли до его родного этажа; старуха указала пальцем на дверь: «Вот тутa дохтур твой обитает!» И покатилаcь вверх, все вверх и вверх, теплым зимним колобком, румяная, сморщенная, улыбчивая, и он никак не мог вспомнить, новая это соседка или старая, а может, он знал ее еще девчонкой и они ровесники — женщины, бывает, старятся очень быстро: те, кто рано рождает и впроголодь живет.

Он слепо стоял перед дверью, качался. Глотал воздух лоскутами легких, как вино. Пил его, пьянел. Никак согреться не мог. Дрожал. Надо было позвонить. А может, постучать. Над его лбом моталась кнопка звонка. Он поднял руку, чтобы позвонить. Потом опустил и положил ладонь на дверную ручку. Нажал. Дверь подалась под рукой. Он стал толкать дверь вперед, она открылась широко. Он вошел. Оставлял следы в прихожей. Дышал шумно, тяжело. Хрипел. Старался не кашлять. Хрипы раздирали грудь. Сам себе казался старой тряпкой, и ее рвут на части сильные руки. Прошел в комнату. В кресле, спиной к нему, сидел старый лысый человек в красном халате. Руки старика лежали на подлокотниках кресла. Руки задрожали. Вцепились в подлокотники. Медленно, трудно старик встал. Колени его подгибались. Он обернулся. Марк шагнул вперед. Хрипы в груди клокотали. Ноги перестали его держать. Он повалился к ногам старика. Наклонил голую, в колючках волос, грязную голову. Шапку, похожую на гриб, он где-то потерял. Может, еще когда вдоль рельсов шел. А может, около серого прозрачного катка. Он сказал старику: «Отец!» А старик затрясся и вымолвил ему: «Сынок мой!» — и положил руки ему на плечи.

И так они застыли оба. Красный халат Матвея огнем лился с его плеч, и время сначала горело вокруг них огнем, а потом пламя сковало мороз, и костер застыл, и лохмотья времени вил и трепал подземный ветер вокруг них, а волосы вокруг лысины старика поднимал ветер небесный, и влетал небесный ветер в раскрытый, страшно плачущий рот, и отвалилась от сапога насмерть прикрученная веревкой гнилая подошва, и глядела на бедный мир голая нога, и глазами целовал отец ногу ребенка своего, и руками целовал плечи его и щеки его, и прижимал голову его голую, колючую к груди своей, и шептал нежное, ласковое, а сын дышал хрипло, тяжело, теперь можно было так дышать, не надо было стесняться ничего и бояться, он ведь шел и дошел, он дошел домой, и это его отец крепко обнимал его, и слепо и счастливо рыдал над ним, и, еще живой, сливался телом и душой с ним, еще живым.

Еще...

...И вот, батя, еще живой я, живой, сам себе так думал, шел и кашлял, и вот дошел, видишь, дошел и здесь лежу, перед тобой лежу. А знаешь, как я боялся входить домой! Не знаю, как боялся. Руку никак не мог поднять, постучать, позвонить. Руку судорогой свело. Я уж, знаешь, хотел деру дать. Ну, думаю, какая разница, где подыхать: в родном доме или в чужой подворотне. Бродяга я и есть бродяга! Забыл я, что такое дом! Забыл, а ведь вот потянуло! А может, так надо, и правильно потянуло? Батя, батя... Ты меня прости, нарасказал я тут тебе всего. Всякой дряни. Голову тебе заморочил! Знаешь, как наши воры, столичные, говорили: «Не морочь мне яйца!» Ах я гад, гад. Гаденьш я, батя. Зачем я только тебе эту жизнь свою всю вывалил! Завалил ведь просто тебя ею. Все, что накрал, — держи, батя, все твое! Я щедрый! Мне не жалко! Я и еще наворую! За мной не заржавеет!

Не слушай меня. Ерунду мелю. Язык мой без костей. Сейчас боли нет. Но скоро придет. Спешу тебе все сказать, чего раньше не говорил. Но, батя, я не мальчишка! Не тот юнец зеленый, что из дома удрал красивую жизнь искать! Нет! Измочаленный я. Мочало я липовое! Осталась половина меня. Боли нет

пока, но скоро она будет. Опять. Опять накатит, сволочь!

Вот накатит, буду сначала терпеть, потом орать, а в это время мозг, бать, знаешь, думает обрывками мыслей а сколько времени человек подышает? Месяц, два? три? полгода? Если полгода такого ужаса, я точно не выдержу.

Что ты, бать, такой смурной сидишь? Навел я на тебя тоску? Эх, я дурак. Надо было помягче, помягче! А я тебя всем своим ужасом взял да и покромсал. Ты, хирург! Ты так, как я, своих больных не кромсал. Ты их щадил. А мне кого щадить? Бать, боль такая временами, что на стенку полезть и бегать по потолку, вот что охота. Даже не так! Не так! А выть, выть. Ну я и вою! Батя, ты прости меня, что я тут у тебя вою как волк! Волк я и есть волк! Погибаю я! И это оказалось так больно, больно! Если так дальше пойдет, я от боли такой глаза себе сам вырву! Ребра сам себе ломаю и сердце свое в кулаке раздавлю! Не хочу я жить с такой болью! В ней жить не хочу! Внутри нее! Не могу больше!

Бать, а иногда, знаешь... как хочется курить... аж уши пухнут...

Батя... Батя... А вот мысль мне пришла... Батя, родненький!.. а сделай мне укол! Какой, какой... Все такой! Последний. Ведь делаешь ты мне уколы, от них боль проходит. На время — уходит. Потом опять идет, и я опять не человек, а боль. Я в нее превращаюсь! И нет ничего, кроме боли! И меня нет! А на хрена мне такая жизнь, если меня уже нет?! Батя! Прошу тебя! Вкати мне укол, а! Ну чуть побольше зелья в шприц набери, а?! Ну влей ты смерть в меня! Пожалуйста! Не могу больше жить! Не хочу! Не хо... чу...

<...>

* * *

Марк кашлял все сильнее. Матвей вынужден был быстро подбегать к сыну, когда он задыхался, сотрясаясь, и на полотенце, на салфетку подхватывать все, что он вулканно извергал: кровь и слизь, ошметки легких, все прожитое, пережитое, уже отболевшее и отгнившее, не нужное нигде: ни на земле, ни на небесах. Вытерев Марку бессильно приоткрытый рот, а после обтерев его щеки и подборо-

док мокрым полотенцем, Матвей, сутулясь, садился — когда на табурет, когда на диван рядом с Марком, чтобы чувствовать своим телом слабое, уходящее тепло его высохшего, слабого тела. Тело Марка отдавало тепло отцу через тонкое овечье одеяло. Пододеяльник весь в пятнах засохшей крови. В дырах: разлезается ветхая ткань, а Марк ее мнет в пальцах, и даже такими слабыми, беспомощными пальцами и ногтями — рвет. Истончилась жизнь! Сквозь дыры льется последнее тепло. Зачем оно? Оно же не молоко, чтобы утром кружку выпить. Ученые говорят, время настанет, и погаснет в мире весь огонь, и все обреченно остынет, и покроется седым слоем льда. Страшное, должно быть, время придет. А огонь чем лучше? Сгореть заживо тоже приятного мало. Все идет к обрыву. И в него упадут, а на дне пропасти — костры. И сгоришь, рано или поздно.

Матвей услышал, как сын заходится в кашле, бросил половник в кастрюлю, железо звякнуло о железо; сломя голову побежал отец в комнату; приподнял голову сына, чтобы ему удобнее было кашлять и он не захлебнулся. Кровь поползла из угла рта. Матвей ловил ручей крови кухонным, в масле, мятым сырым полотенцем.

— Вот, так, так, сыночек... кашляй... сейчас легче станет...

Он врал ему.

Воровал у сына правду.

Утер ему рот, спиной содрогался, глядя на кровь на полотенце, кусал губы.

Марк перестал кашлять и отдышался.

— Бать... посиди... тут...

— Да у меня там суп.

— Вы... выключи...

Матвей послушно побрел на кухню, выключил газ и вернулся к больному. Марк глядел на него круглыми, неподвижными глазами подраненной совы.

— Батя... я... спросить хотел.

Он все еще тяжело дышал.

Отец смотрел на него, приоткрыв рот так же, как он.

— Да!.. да... да-да, давай...

Марк пошевелил рукой, она лежала поверх одеяла высохшей зимней веткой.

— Ты знаешь, бать... — Он облизнул губы. Слизал с нижней губы кровь. — Очень оди-

ноко мне. Просто ужас как одиноко. Я... один... тут...

Матвей ужаснулся и протянул руки, чтобы за руки сына схватить, — но не схватил, руки в рывке остановились, замерли; жили отдельно от Матвея; дрожали над одеялом, над грудью лежащего.

— Что ты?! — крик вырвался из него помимо его воли и испугал его самого. — О чем ты!.. Как ты можешь... Я-то ведь — рядом... Я все время здесь, сынок... Ну... иногда ухожу... Но ведь по хозяйству... или в больницу, за лекарствами, в аптеку... но я же быстро, быстро прихожу!.. ты и оглянуться не успел, а я уже пришел!.. Что ты такое говоришь... Что...

Матвей озирался по сторонам, будто наблюдал мышей, рассыпью раскатывающихся по грязному полу.

А увидел кошек; кошки вышли из-за открытой двери, их черные тонкие хвосты завивались крючками. Кошки исхудали: Матвей их плохо кормил. Некогда было. Он забывал о зверях и помнил лишь о человеке.

— Да нет... — больной поморщился. — Я не про это, батя. — В груди у него заклокотало, и он хотел еще покашлять, а вместо этого немного похрипел и побулькал, как суп в кастрюле на плите, влажно и стыдно. — Одиноко мне. Вот тут. — Он слабо похлопал себя ладонью по груди. — Тут — одиноко! Жутко мне тут. — Он прислушался к себе. Закрыв глаза. Потом опять открыл. Глаза тускло светились подо лбом, светляками на болоте, огнями в черноте лабрадора. — Знаешь как жутко! Завыл бы. Да ведь я не собака.

— Нет. Не собака.

— Лежу тут один... выть хочу... сердцем вою... и думаю: вот бы стать бессмертным!

Матвей прижал руку ко рту.

— Ох ты!.. Эка куда хватил...

— Да! Не умирать никогда. Или, может, знаешь... уснуть на сотни, на тысячи лет, просто уснуть... А потом взять да и проснуться? И опять жить, а потом опять уснуть, а потом опять пусть тебя разбудят. И опять жить! Все время жить и жить! Жить!

Марк прохрипел это «жить!» так мучительно, взорвал этим словом себе грудь и рот, и оно, попав в Матвея, пробило ему грудную клетку и

выкатывалось, выливалось из разверстой ямины плоти на рваную майку, на штаны, на полотенце, на одеяло.

— Жить... Да...

— И вот, батя, я еще думаю. Я умру, а может, в это самое время возьмет да родится другой я?

— Какой другой я?

Матвей растерялся.

«Пусть лепечет что хочет... Не буду останавливать... И спорить тоже не буду... Работа мозга, работа мозга... Все уже гаснет, все...»

Он вдруг понял. Все понял, что сын хотел сказать.

— Ну, другой я. Такой же человек, как я. Ну не такой же внешне... а... внутри такой же. Родится... и будет... ощущать себя, как я. Ну, говорить и думать о себе: я! Я! Ну, это буду я! Настоящий я! Один я лежит в земле... Закопали уже меня... А другой я — вот он я! На земле! Скажи, разве так не может быть!

Матвей кусал губы.

— Да я понял, сынок... Я понял... Может... Все может быть...

И вдруг Марк приподнялся на диване на локтях.

Для него это было невозможным усилием. Но он приподнялся.

И так, оперев локти в диван, поднимая на локтях тщедушную грудь, впалый живот и костлявые плечи, и дрожашую, как у чучела на ветру, бритую голову, и шею, обтянутую темной обвислой кожей, с торчащим кадыком, держа на ломких костях всего себя, всю свою жизнь, как гнилое коромысло, он проорал хрипло, прямо глядя в лицо отцу:

— Да врешь ты все! Врешь! Есть только один я! И вот он я! А другого нет! И не может быть никогда! Никогда он, другой, не родится! Я — больше — никогда — не роюсь!

Локти подломились, и он упал.

Так падает со стола небрежно смахнутый полотенцем зазевавшейся хозяйки сырой, только что слепленный беляш.

И тесто, шмякнувшись, растекается по полу; и мясо вываливается на половицу, и наступает рассеянная хозяйка, в окно засмотревшись на ярко горящий церковный купол и заслушавшись пасхального колокольного звона, всею ногой в разношенном тапке на месиво, что у

нее под ногами лежит на полу. Жизнь лишь на миг быстро слепленный ловкими руками беляш; его съедят, или бросят собакам, или растопчут на скользком полу.

В мире нет ничего, что осталось бы навсегда.

Матвей судорожно, быстро гладил сына по мокрому голому, колючему лбу.

— Сыночек... ты не плачь... А может, родишься... И будешь снова — я... Ну, в смысле, ты... Ты сам... Только ты... Ты один... А я... А где же буду я?..

Отец смутился.

«А правда, где же буду я?.. А чёрт со мной... Наплевать на меня...»

— Ты?

Марк царапал ногтями одеяло.

— Я... хотел бы опять... в той новой жизни... видеть тебя...

Марк рассмеялся тихо, странно и хрипло.

Он теперь все время хрипел: дышал — хрипел, говорил — хрипел.

— А это уж, батя, как твой Бог захочет!

— Мой?.. Бог?..

Одна черная кошка подошла, выгнула тощую спину, сквозь шелковую шерсть просвечивали позвонки. Другая черная кошка коротко и нежно мякнула, ухватила когтями за бок кресла и стала весело драть и без того дражную обивку.

— Брысь! — крикнул Матвей и махнул на кошку рукой.

Кошка села и молча смотрела на Матвея, как черный сфинкс.

Марк дышал хрипло и трудно.

— Батя... — царапал ногтями, как когтями, простыню, край дивана. — А покажи мне...

— Что?..

— Жука... Ну, жука. Ты помнишь жука?

Матвей через миг-другой понял: сын говорит о темном ночном жуке в синей спичечной старинной коробке. О последнем подарке навсегда ушедшей матери.

Как и зачем он вспомнил жука? Мертвого, гладкого, блестящего, как царская брошь?

Матвей встал с дивана, пружины лязгнули, неверно пошатываясь, постоял и медленно, шаркая ногами, пошел к письменному столу. Выдвинул ящик стола. Книги, тетрадки, записные книжки, очешницы, сломанные фо-

нендоскопы, старые тупые скальпели с ручками, обмотанными изоляционной лентой: давно служили как домашние резак — веревку обрезать, бумагу разрезать. Крючились сухие пальцы, шарили, искали. Нашли. Спичечная синяя коробка вытянута, улеглась на ладони. Отец вернулся к дивану, снова сел, снова звякнули пружины. Он поднес коробочку к щеке Марка и медленно, будто делал инъекцию, коробку открыл — большим пальцем. Опустил чуть ниже. Положил на подушку. Пальцами придерживал. Марк косил, косил коровий глаз и все не мог так скосить, чтобы увидеть.

— Жук... ты все врешь, батя... нет его тут, никакого жука... а я же его с детства...

— И я — с детства...

— Где он?.. выкинул его ты, в окно выбросил... Или — кошки сгрызли...

— Да вот же он, вот...

Марк поворачивал голову на подушке так трудно, что Матвею показалось — он слышит скрип шейных позвонков. Матвей взял коробку двумя пальцами, а пальцем другой руки придерживал жука; поставил коробочку стоймя, на попа, и поднес к носу больного.

Бритая, в колючках и пуху, голая голова сына тихо светилась в полутьме.

— Видишь?.. Видишь?..

У жука отломилась сухая лапка и невесомо упала на одеяло.

— Вижу.

Марк слабо и глупо улыбнулся.

Матвея от этой улыбки скрутила судорога.

Не тело скрутила; то, что находилось внутри тела и снаружи его.

— Красивый?

— Еще какой.

Марк шевельнул рукой. Отец понял: он хотел жука потрогать.

«Детство свое хочет потрогать. Значит, скоро».

Он поднес коробку к руке сына. Сын осторожно, опасливо поднял руку и прикоснулся к хитиновым надкрыльям.

— Гладенький... Мертвенький... А когда-то был живой... Летал, жужжал... Мне, батя, в детстве казалось: он леденцовый... Я хотел его лизнуть... а вдруг — сладкий...

— Да... Мы все в детстве так... Что блестит —

то и лижем... И хотим присвоить, украсть... Я вот маленький был — у тетки хотел брошку украсть... Она ею ворот кофты закалывала... кружевной... Тоже... хотел стащить — и лизнуть, пососать... Сынок, а обедать?.. Ты хочешь покушать?.. Пойду супчик разогрею... А?..

По щекам Матвея медленно, торжественно катились мелкие, как окуневая чешуя, мутные слезы.

<...>

* * *

Матвею чудилось: вокруг него война. Разрывы, дыры в стенах домов. Развалины, кровь на трамвайных остановках, на грязном снегу. Он шел по военному городу, и ему было все равно, что он мирный и неприкосновенный. Глаза скользили по афишам. Больно били по зрачкам чужие громадные имена. Красные, синие буквы обжигали щеки, вспыхивали и таяли. Матвей остановился и долго, по слогам, читал на афише одно женское имя. «АН-НА ЗА-РЕМ-БА, АН-НА ЗА-РЕМ-БА». Лоб его огнем обняла сумасшедшая мысль. Она из головы медленно опустилась в сердце и застряла там. Прижимая голую, без перчатки, руку к груди, к воротнику старого зимнего пальто, он обвел глазами большой, с колоннами и балюстрадами, дом, завернул во двор, добрал до служебного входа. Вошел. Отовсюду слышались поющие голоса. Вахтерша грозно глянула на него: кто таков? Матвей извиняюще улыбнулся и поднял плечи, будто сильно замерз. Одна рука в вязаной перчатке, другая голая. «Ошиблись, ошиблись!» — замахала на него рукой вахтерша, поправила на носу круглые совиные очки. Матвей потер холодной ладонью лицо. Приблизился к вахтерше и тихо сказал: «Я хочу увидеть Анну Зарембу. Можно?»

И что-то такое отчаянное светилось в его безумных глазах, играло в его голосе, что вахтерша, как под гипнозом, неслышно ответила: «Она здесь, в театре, это трудно, конечно, но я... вам... устрою. Постараюсь». Она не протягивала руку за деньгами, не нюхала воздух в ожидании коробки конфет или бутылки коньяка. Зашаркала по лестнице наверх. Голоса, мужские и женские, звенели, сшибались и сте-

кали расплавленным воском. Они пели о том, что давно прошло.

А еще они пели о несбыточном.

В дверь просунулось круглое, сморщенное сушеной грушей старое лицо вахтерши. Она молча поманила Матвея узловатым пальцем. Поковыляла по ступеням, он пошел следом. Длинный коридор качался перед ним, кренился узкой лодкой. За одной из дверей он услышал соловьиную фиоритуру. Вахтерша скрючилась кочергой и осторожно постучала условным стуком. Раздались громкие, звонкие шаги. По звонкому паркету шла женщина на каблуках. Дверь распахнулась стремительно. Матвей увидел рослую певицу в ярко-красном, вышитом смешными детскими блестками платье; певица отступила на шаг и жестом пригласила его войти. Он, в своем старом пальто, стыдясь его, вошел и сел на стул. Вахтерша осторожно закрыла за ним дверь.

О чем они говорили с певицей? Он не упомянул ни слова. Певица взяла с рояля контрамарку и протянула ему: приходите, пропуск на два лица, приходите с женой, с ребенком! У вас ведь есть дети, она украдкой осмотрела его и оценила его морщины и седину, внуки? Он взял бумажку, что давала право пожить немного в другом, райском мире.

Вечером он пришел на спектакль. Оставил Марка одного. Кусал губы. Он ничего не понимал в опере. Люди пели, жестикулировали. То плавно, то перебежками двигались по сцене, захлавленной картонными деревьями и бумажными башнями. Музыка вилась красивыми кудрями. Облака музыки бежали по каменному небу театра, свешивались вниз, к человеческим головам, дико сверкающим во тьме, многоглазыми люстрами с кукольными стеклянными ресницами и хрустальными волосами. Волосы звенели на холодном сквозняке. А топили тут щедро, жарко. Дамы сидели в платьях декольте. Матвей опытным глазом ловил телесные изъяны. Здесь поработать бы скальпелем. Вот здесь плечо сломано и плохо зажило. А здесь грыжа шейных позвонков — как напряженно держит голову. На сцене певица по имени Анна, широко разевая рот, выпускала из себя голос на волю, и он заливал яркой, сияющей водой все — зал и мир, идя

поверх всех плотин. Люди тонули в ее голосе, плыли, изумляясь, смиряясь с судьбой. Этот голос и был судьба. Матвей слушал, ушки на макушке. Не упускал ни звука. Вдруг задрожал весь, с головы до пят. Встал и, расталкивая коленями чужие колени, пробирался к выходу из зала, заплетаясь, бежал по темному коридору, кулисы раздвигались перед ним, занавеси распахивались. Он сам отодвигал их, тяжелые, слабыми руками. Пахло спиртом, сажей, горячей едой, жженым сахаром. В воздухе облаком реяла пудра. Люди бежали по коридору, как на праздник, взявшись за руки и смеясь. Лысый человек с приклеенными усами нехорошо и громко ругался, высовываясь из-за картонной стены с нарисованными кирпичами. Матвей, как слепой, лицом и руками искал красное платье и водопад единственного голоса. Огонь мелькнул во тьме. Он пошел на этот взблеск. Певица, тяжело и часто дыша, стояла за кулисами, отдыхала. Она наклонилась, сбросила с ног туфли на каблуках, вытянула ногу и пошевелила пальцами. Ей поднесли термос, она отхлебнула, утерла рот рукой. Матвей бросился вперед и упал перед ней на колени. Стоял на коленях у ее ног и глядел на нее снизу вверх. «Спойте для моего сына, он умирает!» Певица держала термос и из-за него смотрела на Матвея. Красный бархат платья тихо переливался. Люди, что толпились рядом, замолчали. Брезгливо глядели на Матвея. Они поняли: он тут чужой. А может, даже больной. И надо набрать номер телефона. И вызвать... Кого вызвать? Какую помощь? А разве этому человеку можно помочь?

Босая певица наклонилась к Матвею. Термос выпал из ее рук, покотился по полу. Обе руки она положила на плечи Матвея. Руки оказались тяжелые и теплые. «Я приду. Пишите адрес!» Он царапал адрес истерично, неразборчиво, на услужливо подsunутой чужими руками грязной рваной бумажке. Певица сунула бумажку за лиф. Обтянутая бархатом грудь поднималась, опускалась. Белая кожа слепила. Он закрыл глаза. «Не плачьте, — слышал он нежное пение, — я приду, я приду к вашему сыну».

Часы пробили урочное время. Он отворил дверь на звонок. На пороге стояла певица с

корзиной в руках. Он помог ей раздеться, стащил с нее норковую голубую, снежную шубу, посыпались искры и нестаявший снег; бережно положил на кресло высокую меховую митру, бросил следом гигантский, как кружевная штора, ажурный козий шарф. Перенес корзинку в комнату и поставил рядом с креслом. Из корзины выглядывали зеленые хвосты ананасов, горлышки винных бутылок, промасленная бумага толстых свертков; оттуда дивно пахло копченостями и ягодами. Гостинцы для умирающего, догадался он. Певица сама сняла с ноги один сапог; другой, припав на одно колено, расстегнул он и, поглаживая ногу, помог ей снять обувь. Телячья кожа, нежные складки! Звезда с небес — и у него. Марк будет так рад!

Певица босиком, в одних чулках, вошла в комнату. Сын едва повернул голову на подушке. Лысый, бритый, волосы уже не росли. Она зажала нос и рот ладонью. Потом отняла руку от лица и ослепительно улыбнулась. Здесь не было рояля. Некуда было встать, чтобы петь во весь голос. Марк повернул голову и так лежал, сбоку и снизу беспомощно, равнодушно глядел на залетного красного павлина. Матвей хлопотал, зажег обшарпанную настольную лампу, потом почему-то запалил старую, пыльную свечу в тяжелом медном шандале. Свет брызнул в лицо певице снизу. Лицо Марка светилось грязной керосиновой, давно мертвой лампой. В глубине бесстрастных глаз еще ходил незрячий свет. Он еще видел певицу, но уже не понимал, кто это и зачем она здесь.

Она стояла, как будто рядом дышал черно-белой пастью рояль, и рука лежала на незримой его крышке, — стояла и тяжело, быстро дышала, как всегда, когда выходила на сцену. Это была ее главная сцена. Главнее всех на свете опер. Человек умирал, и ее голос будет то, что он возьмет с собою в дальнюю и невозвратную дорогу. Как же надо спеть ему напоследок! Но стараться не надо, говорила она себе, совсем не надо стараться, никогда. Нужна только свобода. Свобода и любовь. И больше ничего. Она набрала в грудь воздух и запела. Матвей попятился. Он не ожидал, что мощь голоса так быстро, бесповоротно наполнит тесный сосуд нищей квартиры. Да, нищей;

эта певица, разевавшая рот перед ним, была дьявольски богата, а он был перед ней жалок и беден, и все-таки это ничего не меняло. Ничего! Перед мертвенным лунным ликом смерти они были равны.

Голос лился, раздвигал стены, они рушились и осыпались. Война шла снаружи и стояла возле его дома, и вокруг, и летала в сумрачном небе, а голос успокаивал и отца, и сына: все хорошо, я звучу, я льюсь, значит, еще не все потеряно. В ярком красном бархате, горящей красной свечой, певица стояла над постелью умирающего Марка, и Марк сам был раскрытый рояль, он, уходящий навек человек, раскрылся как рояль, обнажил грудь, раскинул руки и ноги, под простыней всеми жилами, медными и стальными струнами, гайками и винтами, и молоточками, и потертой позолотой просвечивало его гудящее, стонущее тело. Он сам был музыка, и музыкальный инструмент, и этому дивному, огромному голосу аккомпанемент; он подыгрывал певице, вторил, хотя не произнес ни слова, не шевельнулся; он звучал бездвижно и вибрировал всеми обертонами молча. И все-таки поющая слышала его. Она тянула к нему руки. Он был еще живой остров, и надо было ему, уже необитаемому, петь, и надо было его голосом утешать и пеньем ему молиться. Пенье и было настоящей молитвой; это ощущал Матвей, вцепившись холодными пальцами в резную спинку кресла, беззвучно шевеля губами. Вместе с певицей он молился о том, чтобы Марк тихо ушел на тот свет, бестревожно, хотя ничуть не верил в это. Врач, он слишком хорошо все знал о неистовой боли, что за руку уводит таких больных за собой навсегда.

Женщина в алом кровавом бархате, раскидывая большие красивые белые руки, во весь голос пела в нишей каморке, а Матвей ловил ее голос всем сердцем и телом и вдруг перестал его слышать. Он шупал руками воздух, будто мог голос в воздухе нащупать и, разминая пальцами, опять заставить звучать. Война, это война заглушила его! Убила! Он сделал к певице неверный шаг, другой. Ноги не двигались, он так и стоял на месте. Оттуда, где лежал Марк, раздался длинный вздох, потом длинный стон. Певица не прервала пенья. Она только чуть выше воздела раскинутые руки.

Такая высокая, крупная она была, мощная, могучая, под стать своему голосу, так мало было ей этих стен, этой чужой и бедной жизни, и Матвей сам себе показался маленьким таракашкой, и еще больше ссутулился, сгорбился, еще крепче вцепился в резное старое дерево. Какое счастье, что он — перед смертью — услышал ее! Знаменитость, звезду! Кто — он? Он или сын? «Да это же одно и то же, что он, что я», — легко и счастливо подумалось ему. И он вздохнул прерывисто и длинно, и так же, стоном, длинно и тяжело, как сын, выдохнул из себя свою безгласную тоску.

А уши залепило. Чем? Воском, глиной, детским пластилином? Он не слышал грохота орудий. Где они грохотали теперь? «Не придумывай, Мотыка, — сказал он себе сердито, — мы же живем в мире, у нас не взрываются бомбы и не свистят пули». Но почему же, глядел он с открытым ртом, глухой, на старательно поющую женщину в красном платье, почему мы все всё равно умираем? Кто губит нас? Как уберечься от времени? Он не слышал голоса, он плакал. Певица воздевала руки, тянула их вперед, будто хотела кого-то обнять. Марк так и лежал, повернув голову на подушке. Будто шея у него сломалась. Матвей переводил взгляд с певицы на сына, с сына на певицу. Музыка все не кончалась — ее рот по-прежнему открывался. Марк лежал как открытый настееж рояль под безжалостным светом ярчайших софитов. Он умирал, только не на сцене, а в жизни. И певица тоже пела не на сцене, а в жизни.

И в жизни это оказалось гораздо страшнее и беспощадней, чем на сцене.

Матвей зажал ладонями оглохшие уши. Потом показал пальцами себе на уши: глухой, глухой, не слышу. Женщина подняла руки выше головы. Рот ее раскрылся мощно, неистово, во рту стали видны все ослепительные зубы и дрожащий язык. Она исторгла из себя последнюю могучую музыку, уронила руки вдоль тела и замолчала. И так стояла, чуть рот приоткрыв. Дышала. Пот катился по ее вискам и щекам. Ей было жарко. Она стала костром и горела. Никто не мог ее потушить.

Сын лежал все так же: без движения.

Отец стал всё слышать.

К нему возвращался слух. Он возвращался

медленно и осторожно. Сначала он услышал скрип половиц под босой ногой певицы. Потом услышал ее дыхание. Она дышала хрипло, будто сейчас вернулась из боя. Ему показалось: от нее пахнет порохом и кровью. Музыка — это тоже бой. Потом он услышал, как дышит сын. Радость обняла его: о счастье, он еще дышит. Он ничего не говорит, не шевелится, но он еще дышит. И слышит. Он сегодня услышал великую музыку. Одно из чудес земли. Какое счастье, что эта красная женщина явилась сюда; он все сделал правильно. И у нее, у нее внутри оказалось — сердце.

Певица глубоко вздохнула и согнулась. Коснулась руками грязного пола. Матвей не сразу понял, что она кланяется. Ему, как переполненному, орущему залу. Из зала к ногам такой певицы летят цветы. Множество цветов. Он не может бросить ей из своего нищего зала ничего, кроме самого себя. Опять, как в театре, за кулисами, он встал перед ней на колени. Изловил ее руку, как птицу, и припал к ней губами. Она долго не отнимала руку. Под плывущим, плачущим беззубым ртом он чувл негу, и запахи мяты, и скользкость ухоженной, намазанной маслами кожи, и шевеленье тонких косточек, и простую женскую усталость — от работы, от поездок и репетиций. От одиночества. Любит ли она? Одна ли? С кем-то? Может, ее кто-то бросил? Зачем она так легко и просто пришла к умирающему? И не боится. А вдруг здесь притон? Одна, без оружия, а снаружи война.

Какая война, ты спятил, шептал он себе, а певица наконец вырвала руку из его рук, из-под его губ и шагнула к ложу Марка. И теперь она опустила на колени. Взяла небритое серое, в холодном поту, чужое лицо в ладони. Глядела как на родного. По ее широким скулам потекли мелкие слезы. Она слизывала их и через силу, горько улыбалась. Потом обтерла лицо тыльной стороной ладони. Шмыгнула, как ребенок. Она стояла на коленях, чужой человек умирал, она стала перед ним ребенком, такого же малого роста. И глядела, любопытствуя, ужасаясь. Прощая и тихо прося странного прощенья. Будто умирающий был священник и мог отпустить ей разом все ее грехи.

Матвей уже слышал все.

А певица из-за слез не видела ничего.

Теперь она ослепла, а может, и оглохла. Она поняла, что тут дело плохо. Встала, качаясь как пьяная, и шагнула к корзине, полной яств. И эта корзина не поможет. Не поможет уже ничего. Она плакала уже в голос, соль застилала слепые глаза, она шупала воздух слепыми руками, не знала, куда идти и что делать. Матвей вытирал ей слезы ладонями, потом кухонным полотенцем. Она высморкалась в полотенце. Он вытер ей нос, как ребенку. Все они стали его дети: и Марк, и певица, и эти толстые, как поросята, ананасы в корзине, и телячьи сапожки певицы, сироты, беззвучно лежащие на полу в прихожей. Свеча догорала. Лампа перегорела и погасла. В комнате наступил мрак. Во мраке тускло, серебряно светилось лицо умирающего на подушке, седая щетина на впалых щеках. Щеки, две латунные миски. Лоб, перевернутый котел. Время обеда. А на улице война. Может, вам сейчас никуда не ходить, дорогая госпожа, гений? Может, вы поедите с нами? У нас есть жареный хек. Я вчера варил суп из белой фасоли. Я мигом!

Матвей метнулся на кухню, певица выкладывала царскую еду из корзины, раскладывала на неприбранном столе. Матвей шелкал выключателем. Света не было. Затемнение — ну, так всегда во время войны бывает. Свеча, ее тоже съело время! Нет уже ничего. Никакого света, никакого времени. Есть только запахи, и звуки, и вкус. Для них, еще живых. Для его сына есть другая еда. Ему не надо мешать ее вкушать. Но пусть ангелы поглядят, как едят еще живые люди. Это же так красиво. Так редко бывает праздник.

Он вслепую резал ананас. Женщина на ощупь кромсала колбасу, раскладывала в блюдечки абрикосовый джем. Пьяняще пахло осетриной горячего копчения, малосольной форелью. Засвистел чайник, и Матвей обжег себе палец, разливая чай по старым, треснутым фаянсовым чашкам. Из такой чашки любила пить чай его покойная жена. И его покойный сын — тот, что утонул в реке. Он вспомнил своих покойников, и губы его затряслись. Певица предостерегающе вздернула руку: не смей печалиться! — и он не смел.

Рюмок не было; может, они были грязные, а может, давно разбились; Матвей подал для вина еще две старые битые чашки и застыдил бедности своей.

У ложа умирающего сидели двое людей и трапезничали, и это был банкет после концерта, а может, поздний ужин среди грохота войны, война это тоже театр, ведь зачем-то говорят: театр военных действий. Нет жизни без войны. Без борьбы. Когда перестаешь воевать, тогда умираешь.

Марк медленно повернул голову на подушке. Певица добыла из корзины ананас, держала его на ладони, колола им пальцы, а Марку почудилось: она держит на руке гладкого юркого зверька, и шерсть его серебрится. Язык его сам поймал жемчужные звуки чужого, забытого языка. «Что то ест, проше ми поведзечь, пани, то гроностай?» — прохрипел Марк, и певица вздрогнула и исподлобья глянула на него, как на сокровище в сундуке. «Так, — растерянно ответила она, а потом спохватилась, — не, проше пана, то ананас».

Фонари горели за окном, огненными шарами катались в голодной тьме, а они тут ели, им было хорошо, но ели они хлеб свой со слезами, и горький он был и соленый, и они не понимали, мир или война на земле, день или ночь: жизнь вся умещалась на ладони, и ее можно было проглотить, как вино из фаянсовой чашки, и слезами облить, и вдохнуть, как запах копченой рыбы, и больше не выдохнуть. Стены еще дрожали от недавней арии. Лицо Марка, с плотно закрытыми глазами, тихо, серебряно светилось в туманной тьме. Лучи фонарей, качаемых ветром, ходили по слепому уходящему лицу, по одеялу и подушке, а может, это летел из форточки мелкий искристый снег и медленно, нежно засыпал его.

* * *

<...>

Часы пробили. Матвей вздрогнул. И, пока часы били, он дрожал, мелко и страшно, зубы его стучали.

— Вот картины у Славки слямзил... Славку — убил... Разве хорошо?.. А прощенья-то у кого

просить?.. У... него?.. Не мог... И — не могу... Народ на его картинах... на моих... все бежит и бежит куда-то... бежит и бежит... И звезды красные горят... изнутри светятся кровью... И корабль большой тонет в море... Ночь, окна пылают, люстры разбиваются... звенит хрусталь... народ орет, садится в шлюпки... Головы людей в черной воде... Она, бать, такая маслянистая... ледяная... Такие картины... Я сам так бы не смог... Я их украл... и радовался этому... Народ... я его не понимал... и не любил... Я мой народ, бать, никогда не любил...

Матвей сильнее, судорожной сжал, сцепил пальцами руку Марка.

— Сынок!.. Брось... Ты же сам — народ... Ты и есть — народ...

Марк дышал все чаще. Ловил воздух губами, как струю воды.

— Я — народ?..

— Да... да... Ты — народ... Я — народ... Мы оба — народ... И все, все мы — народ...

Матвей разлепил глаза, налитые слезами всклень, и сквозь линзу слез видел, как Марк силится улыбнуться.

— Батя... Вот я возвращался на родину... И в поезде ехал, и пешком шел... А мимо меня шел народ... Я иду, а он — мимо меня... Ну, видать, разные мы с ним народы... Я одним путем иду... он — другим... И он, знаешь, так идет... Ну, сильно так, что ли, весело... Я отвык так ходить... И в сторону глядит... Куда мне уже не поглядеть... Я отвык туда глядеть, куда он глядит... Так радостно, так... Глаза, короче, у него светятся, у народа-то... Так не удержиимо идет... Хорошо движется... будто ветер его в спину гонит... А я через силу иду... как против ветра... И я тогда подумал: а зачем я против ветра?.. Против народа?.. Дай-ка я с ним пойду... И я — пошел... пошел, поехал туда, куда он шел и ехал... двигался вместе с ним... И, когда я с ним пошел... в одну сторону мы пошли... Бать, мне легче стало... Я будто выдохнул... Люди идут, смеются, и я иду... Плачут, и я плачу... На перронах, перед вагонами, обнимаются — и я с приبلудной старушонкой неизвестной взял да и обнялся... А она испугалась, стала вырываться... «Хулиган, — кричит, — брось меня, пусти меня... На помощь позову!..» Ну, я выпустил, конечно, дуру... Не поняла она ни-

чего... Я видел его весь... мой народ... Чувствовал — весь... И я ему шептал: народ, ты меня возьми и укради... Я — твой ломоть... кусок твой в голодуху... Давай я теперь буду жертвой... Скради меня!.. Мне не жалко... Разломай на части... голубям скорми... подошвами раздави!.. Да все равно мне!.. Потому что я теперь — счастлив... Да, счастлив... бать, ты слышишь или нет... Счастлив... Да...

Матвей шептал: «Слышу... Слышу... да...» — но Марк не слышал его. Кровь вытекла сразу из обоих углов его рта и щедро лилась на подушку. Матвей прижал тряпку к его рту. Слезы Матвея крупно, жадно падали на бледное и жалкое, еще живое лицо сына.

<...>

* * *

Марку казалось: он узник. Он в тюрьме.

Стены этой тюрьмы сложены из прошлого и будущего.

А он сидит в одиночной камере: в прогале фальшивого, картонного настоящего.

Его пытаются накормить — он не ест. Напоят пытаются — не пьет. Чьи-то далекие голоса пытаются вызвать его на откровенность. Он не хочет ни перед кем обнажать душу.

Мир, по которому он шел живыми ногами, оказался до обидного маленьким: всего-то одиночка, и матрац на полу, и решетка на высоком, под потолком, окошке. Все бренно! Все бессмысленно. Все есть гниение, разложение; танцы скелетов. А почва, чтобы можно было ступить всей ногой, крепкая, твердая, — из-под ног уплывает. А маяк не горит, не пылает. Не мигает зазывно. Твоя почва — старые шелка, побитый молью бархат! Твоя келья — домовина, и нечего этого стыдиться. А огонь твой — у тебя в ладонях, это твоя старая, недокуренная сигарета, слишком жалок твой одинокий огонь, слишком слаб. Да ты, дружок, слаб! А разве ты силен? Разве ты, самим собой обкручивая белый свет, силу свою — не растерял?

Маяк, нет, он просто маяк. Мигает в ночи. Кругом ночь. Придет смотритель. Он следит за светом. Это его отец. Следит, чтобы маяк

жил. Еще жил. Но однажды угаснет огонь. Так бывает.

Что же главное в этой жизни? Что?

Неужели сама жизнь?

Как это скучно. Как грустно!

Он думал, главное что-то другое.

Однажды, когда он еще мог говорить, его отец нагнулся к нему, и Марк, поймав глазами его глаза, слабо улыбнулся и попросил:

— Наклонись.

Отец наклонился.

Марк глубоко вздохнул.

Отец ждал.

Марк сосредоточился и выпустил шепот наружу, как голубя из рук.

Шепот вылетел и порхал над их головами.

— Отец... Я тут наговорил тебе. Все мои страдания...

Отец ждал. Голубь порхал и искал выхода: открытого в холод и синь окна.

— Все скитания... все... это только мои... сны.

Отец перестал дышать.

Ага, проняло!

Надо успеть. Успеть утешить его. Успокоить.

— Это лишь мои... такие... безумные видения... та жизнь, которую... я... только хотел...

Матвей сцепил и судорожно, крепко сжал руки, будто приготовился рыдать.

— Прожить...

Голубь бился крыльями, грудью в стены, в стекла.

— Да так и... не прожил...

Матвей положил руки на плечи сына.

— Сыночек. Мне это все равно. Прожил, не прожил. Больной, здоровый. Вор, честный, царь, нищий. Все равно мне! Ты со мной, и это главное. Главное! Я...

Слюну сглотнул, как водку.

— Люблю тебя...

И да — вот это и правда было главное.

Здесь, на земле.

<...>

* * *

..**Б**оль уже нельзя было снять уколами простого морфия. Требовались наркотики помощнее. Матвей бросился к секретеру. Вынимал коробки с ампулами, дрожащими ру-

ками раскутывал шприцы. Марк уже кричал. Он кричал без перерыва. Сон о счастье закончился. Фреска вся осыпалась, и вместо светлого святого лица глядела каменная, исцарапанная болью пустота. Закончилось блаженное время без боли. Она опять пришла. Матвей набирал в шприц лекарство. Руки потеряли умение, врачебную давнюю ловкость. Осталась только дрожь. Дрожь и страх. Лишь на время снять боль. Лишь на время.

– Марк, сынок, потерпи...

«Все терпят?! Вот так – терпят?! Да лучше...»

Что – лучше? Увеличить дозу?

«Как кричит...»

Игла сама, как живая, умная, и приказывать не надо, находила перевитую страданием жилу.

Лекарство вливалось в вену медленно, по правилам. Руки тряслись.

Вьется, течет.

Течет, еще течет жизнь.

«Эти бы крики – послушать бы тем, кто против эвтаназии!»

Мышцы Марка скручивали судороги.

«Легкая смерть... сладкая... Всего лишь три грамма морфина – три вместо десяти миллиграммов...»

– Я не могу дыша-а-а-а-ать! Задыха-а-а-аюсь! А-а-а-а-а...

«Боже, Боженька... О чем думаю... О смерти сыну своему... И чтобы я... его... своими руками... Боже, дай мне силы продлить ему жизнь, на сколько смогу, как смогу... Зачем, не знаю... просто потому, что Ты так решил... так – распорядился... на земле...»

Каналы Венеции. Черная кровь далекого счастья. Костер ночной песни, до самых звезд. Текучее, горячее золото живописи, краски текут слезами по лицу, по улыбке Господа.

Матвей кричал вместе с сыном.

Он не слышал своего крика.

* * *

<...>

Запястья сына показались ему сухим хворостом. Где печь, чтобы сгорели?

– Сынок... Ты не печалься. Ведь все оно прошло. Прошло.

– Да... Прошло...

Стал кашлять и кашлял долго. Кровь изо рта по щеке и подбородку лилась на тряпку, на подушку. Матвей плакал и вытирал кровь. Кашель утих. Матвей все ждал с ужасом, когда Марк опять закричит от боли. Он не кричал.

– Может, уснешь, сынок... а?..

Капельница серебряно светилась во мраке.

Марк шевельнул ногами под одеялом. Из-под одеяла высунулись и горели во тьме тусклым, мертвенным синим светом голые ступни.

– Не хочу спать. У меня все внутри... как ножами режут! Режет меня мое вранье. Мое воровство! Я не брошку тут чужую своровал. Не иконку в церкви. Я – жизнь чужую... своровал! Котик сливочки слизал... и... и на Машеньку – сказал... Я оклеветал мертвого человека! Даже не живого – мертвого! Вымазал его грязью! Прилюдно! С ног до головы! Назвал его, честного – подлецом и вором! Его – собой – назвал! Да ведь я же его сам и убил! Скажешь, не хотел?! Выходит, хотел! Я все всегда делал, что хотел! Я – играл с людьми! В свою игру играл! Батя! Кто я на земле был такой, а?! Ну вот кто, кто?! А... не знаешь, что сказать... Назвать боишься меня. А я, я – знаю, кто я! Я – подлец, вор! Убийца я...

Стал мотать головой по подушке. Бешено, иступленно. Глаза таращил.

– Нет! Ты не убийца! Сынок! Нет!

– Да!

– Нет!

– Да! Я вор и убийца! Оборотень! Оборотень! И я с этим – умираю! И худо мне, дико мне, томно... тошно мне... гадко, жутко, батя! Жутко! Страшно!

Бросил мотать головой. Застыло, мертво, подземно горящими глазами глядел на отца. Глаза выкатились из орбит, белки отсвечивали то желтым, то голубым, их расчерчивали тонкие красные прожилки, и само глазное яблоко вдруг почудилось Матвею землей – той землей, что всю обогнул его несчастный последний сын, вернувшийся будто с войны, а на самом деле – из преисподней, а может, с того света, ведь там, где он побывал, никому больше не побывать никогда. Земля медленно вращалась, тяжело оборачивалась вокруг своей оси, выкатывалась из-под об-

лаков и ураганов, вздрагивала, ее океаны лились слезой, разъедали солью камни и пески. Земля, она тоже была человек, грешное существо, и она плакала слепым глазом по себе, по тебе. По всем, кто стекал, умирая, последней слезой по ее старой, корявой, бедной щеке. Нет, не слепая! Она — нас — видит! Видит — всех! Каждого...

Гляди... мы — голые... в тебя — кто как ложится: кто голый, кто одетый...

— Сынок! Не надо так! Не мучь ты себя! Грех на тебе...

Перед Матвеем вдруг будто молния ударила и половицы подожгла, и огонь заполыхал и заметался.

Он понял: тяжело с грехом — умирать.

«И ведь не верит он ни в какого Бога... и никогда не верил... а вот бы покаяться... да ведь и я тоже!.. не верю... а кто у нас веру-то украл?.. кто?..»

Крючья больных пальцев царапали, царапали простыню.

Простыня сползла и обнажила бледный голубен.

Все так же выкатывались и горели ночные безумные глаза. Все так же медленно, важно ходили тощие черные кошки из комнаты в комнату.

— Батя! Горит душа! Горит... а ну как там что-то и правда есть?!

Матвей прижал обе руки ко рту.

— Бать! Что молчишь! Ведь есть!

Матвей нашел в себе силы кивнуть. Рук от лица не отнял.

— Бать, а я правда свою прожил жизнь?.. Свою?!.. А может, чужую?.. Воровал, воровал... и доворовался... Да разве она была — моя?.. Нет!.. Не моя. Нет! Я все время только и думал... как бы стибрить удачно... то... что плохо, плохо... плохо...

— Тебе плохо?!

Матвей вскочил, схватил Марка за плечи. Тряс.

— Сынок! Сынок! — плакал в голос, всхлипывал. — Скажи мне! Скажи! Что у тебя сейчас болит! Лучше я свою руку сломаю! Ногу! Пусть у меня болит! А не у тебя! У меня! У меня!

Рыдал неудержно.

Марк выдавил из окровавленного рта длинный хрип:

— Плохо... лежит...

<...>

* * *

Марк катал голову по подушке. Потом замирал. Слушал себя. Слушал, как умирает. Молчание или музыка, все равно. Он уже не мог не то что петь — мычать не мог. Думать не мог. Думал иногда; мысли выныривали из мрака рыбами и проплывали мимо него в соленом, горьком мозгу — он ощущал его потусторонний вкус на онемелом языке. Язык лежал во рту снулой рыбой, а мысли плыли мимо, еще живые. Редкие. Одна плыла такая: будущее все равно придет, и придет без него. Он смутно видел его: мрачные дома, люди бегут, закрывают руками голые головы. Чего они боялись? Грохота не слышал. Мысль уплывала: это моя земля, через сто лет, и, может, ее убивают, или она опять убивает себя, революция, война, да все равно, а может, уже тысяча лет прошла, а все одно и то же: выстрелы, страх, крошатся мрачные стены неведомых строений. Дует неведомый ветер. Рыбы плескали около его, чужого ему, лица мягкими веерами хвостов и исчезали во тьме, в тишине.

Опять рвали скользкие белые, в чешуе, узкие живые тела мертвую тишину. Молча текли, взблескивали. Погибали, плыли брюхом кверху. Рыбы — это народ. Большой водный народ. А он, Марк, был народ наземный. Один из огромного народа, из стай и косяков. Куда плыл? Зачем? Его народ был и вправду огромен. И он жил, не зная его. Не знал его и не ведал. Меньше всего думал о нем. А думал о себе: как бы у ближнего украсть, у дальнего, — это тоже было ему все равно. А где же был народ? Рядом ли с ним шел, поодаль? Или это Марк шел, бежал, а народ стоял, падал, лежал и умирал? А Марк был живой, преступно живой, презрительно и подозрительно живой, он выживал всегда и везде, и плевать ему было на народ, где он там, и зачем он, и надо ли о нем думать и сокрушаться о нем, если у него горе или потрясение; с меня, он так жил и думал, довольно моих мучений! Мир то раскалывался, то склеивался чужими дрожащими, как при смерти, руками, мир бился грязным воробьем в ладонях, родина Марка была частью этого мира, грязным,

испачканным кровью пером на теле дохлака-воробья, никчемного подранка, уличной малявки, — и Марку плевать было на эту непонятную родину: есть она, нет ее, — ветер, толкая его в зад и в спину, закинул его в чужой расколотый мир, и он все время шел по краю его гигантских трещин, над черным зевом пропастей, и сам едва не пропал, но вот выжил; где уж тут было думать о какой-то там родине! О ее непонятном будущем! Зачем ему ее будущее, когда у него есть свое настоящее? И ему — свою настоящую жизнь надо прожить, а не чью-то великую, гордую и героическую в каком-то там чёртовом будущем веке; вот он и жил, и ему казалось — он жил ее, свою жизнь, жил ею на полную катушку. Наслаждался ею, не жалел ее, тратил, жевал ее, высасывал и презрительно плевал. Вниз. Себе под ноги.

Будущее. Вот оно. Живое. Рыба плывет мимо и косит выпученным снежным глазом с кровавым ободком. Рыба молча говорит Марку: будущего нет. И времени нет. Есть тьма, и ты сейчас нырнешь в нее.

Он скитался среди разных народов, учился бормотать на чужих языках — а не любил и не знал языка своего; болтаясь в мешанине чужих земель, беспечно забывал его; не нужен он был, родной, ему там, в иных землях; он только воровал, ташил у людей, говорящих на разных языках, их добришко, а потом вернулся на родину и то же самое стал делать, что и всегда делал: ташил, греб, хищно и тихо хватал, уносил, крепко под рубахой к голой груди прижимал, — так прижимают любимую руку или любимое тело, а он притискивал к себе чужую вещь, согревая ее своею живою кожей, и готов ее был с бродячим чаем съесть вприкуску, разгрызть, как грязный ком слежалого сахара. Танцуя, легко и походя, он воровал у людей и мертвое, и живое. Вещь, сворованная им, оживала, а живая под струей его дыханья умирала, и он сначала желал выбросить ее и пнуть, как пинают раздавленного таракана или дохлую мышь, а потом, одумавшись и преисполнившись глупой жалости, засовывал глубже в карман — авось пригодится.

А что его народ? Вот опять он говорил на его языке; на своем языке; и свой язык казался ему горьким и чужим, никакой сладости и

красоты не было в нем, никакого счастья. Жил на родине, а как не вернулся. Быть принадлежностью, быть частью, не брать, не красть, а давать, отдать... Мог ли он это? Может, он не то чтобы забыл, как это делается, а просто никогда и не знал этого?

Рыбы, плывущие мимо его лица, превращались в чужие лица. Лица, лица, лица плыли перед ним. Люди шли перед ним. Останавливались. Наклонялись над его смертным ложем. Лица вспыхивали и искривлялись последним плачем. Они тоже умирали. Нет, они все-таки жили, если двигались! И сияли, и мерцали сквозь слои мрачной посмертной воды! Лица глядели на Марка из странных квадратов, из намертво замкнутых клеток, из колышущейся черноты. Он видел людей в лицо. Он в лицо видел свой народ. Кто весел, кто отчаянно кричит. Распялен рот в крике, а крика не слышать. Под водою не слышно ничего. Под водой мы все рыбы. Гибкая вода изгибается зеркалом. Клеть, а может, невод, и в неводе — люди. Их поймали. Поймали народ, не выпустят больше. Кто ловцы? Кто же ловцы человеков?

...А, да, батя читал ему... из толстой книжки... Она вся напрочь заляпана воском... Как называется...

...Сделаю вас ловцами человеков...

Народ, он плыл на Марка, это был его народ, не поймать никакими сетями, а рыбаки закидывали сети все равно, и рыба косяками заходила в них, и лица наплывали на него и касались лбами, щеками его лица, и он, в ужасе, не мог лица отвернуть. Живое, изловленное, вываливали, а то и вместе с сетью швыряли в черный ящик. Люди шевелили немymi губами, люди хватались птичьими когтями за железные прутья, трясли клетку, пытались порвать теменем и затылками крупную ячею, но нет, навек пойманы были они, и Марк тоже тряс губами, сам себе шептал: «Я не хочу в плен... Я... с вами... не хочу!...» А люди из черных квадратов смотрели на него, смотрели живыми мерцающими лицами, и иные из них были так прекрасны, что хотелось заплакать, а иные так отчаянно безобразны, что надо было в кровь, до кости, искушать губы, — да, это был его народ, он узнавал его в лицо, этот народ превосходно видел его, видел и то, что он умирает, и народ прекрасно знал, куда он

попадет; и все эти люди не могли, не умели утешить его, а кто они были, мертвые или живые, глядящие на него, лежащего, изнутри этого черного страшного, громадного ящика, из этой картотеки, каждый учтен, вписан в реестр, каждый уже не вырвется, только закинет лицо к забытому свету и крикнет беззвучно: «Жить хочу! Пустите! Жить!» — ни Марк не знал, ни они сами: слишком много их было, рыб, косяками плывущих из тьмы, и слишком одинок, один лежал тут Марк, под капельницей отца, украденной из старой больницы, на высоких подушках, чтобы напоследок хорошо, правильно, без перегрузок работало изношенное сердце. Народ! Он был рядом. Марк лежал недвижно, а его народ на него глядел. Он ждал, когда Марк обратится в рыбу и поплывет. И заплывет в черную ячею. И будет смотреть оттуда, из черноты, наружу таким же отчаянным, белым рыбьим лицом. И бесполезно шевелить рыбьими невымытыми губами.

А рыбы морды, рыбы хорды, плавники внезапно туманились, растворялись, исчезали, и все больше лица становились лицами, и голые тела, восставая из тьмы, облекались в одежды, и шел на Марка из мрака времени его народ, его родной народ, насмерть забытый им, — и так сильно, крепко он шел, и древней мощью мерцали забытые лица, сжимались руки в кулаки, клались руки на плечи, и вот уже, раскрываясь, пели рты, и Марку казалось, он слышит музыку. Петь! Спеть вместе с ними! Что они поют? Музыку не своруюшь. Нет! Своруюшь! Своруюшь все, если захочешь! Мой народ! Я забыл тебя! Я плюнул на тебя! Сбежал от тебя; прости меня! Но ведь умираю-то я на своей земле! Народ, ты слышишь меня, на своей!

Они все шли на него, эти люди, шли из тьмы, набегали сверкающими волнами и откатывались опять. Соль, влага, все лицо его стало соленым. Он слизывал соль. Не понимал, что плакал. Плакать надо было. Сквозь эти слезы что-то понять. Что-то важное, единственное. Огромная стена его народа приблизилась, люди шли все плотнее, впритирку, впритык, вжимались друг в друга, шли одним объятием, становясь все больше единым живым существом; шли, шли, наваливались, и вот навалились и смяли Марка, подмяли под

себя, шли прямо по нему, лежащему бессильно, и он слышал, как под ногами его народа его кости хрустят и тело, подобно сугробу, проседает и подается; и ему казалось — это у него не кости, а крылья хрустят, ломаясь; он весь надломился, как взорванный храм, и стал оседать вниз, и в воздухе за клубилась блестящая мелкая пыль; ему в грудь впечаталась чужая тяжелая ступня, и еще одна, и еще, люди шли по нему и топтали его, втоптывали его в грязь, во тьму, и его ребра прокалывали ему тощую от болезни кожу, втыкались в землю и сумасшедшими деревьями, среди зимы, прорастали там; тело его, под тысячью ног, разымалось и кровило, и сладким вином текла в снег и грязь его кровь, он медленно и постепенно становился землей, родной землей, и стал плоть от плоти ее, и стал кость от кости ее; а люди все шли и шли, они уже шли не по живому Марку, а по живой земле, и в нее бросят зерно, и взойдет хлеб, и созреет виноград, и хлеб, дрожа, будет есть голодный, умирая от голода, и вот он не умрет; а Марк умер, ну так что ж: он стал землей, и таково было счастье его.

И, когда он понял, кем, чем он стал, понял краем уже утраченного, улетающего сознания, — он исполнился радости, он хотел запеть и закричать, но уже не мог: рта не было. Хотел руки поднять торжествуя, но рук не было. Ничего уже не было из того, что когда-то было Марком. Он понял, кто он такой. И кто такие все эти люди, что, идя по нему все вперед и вперед, раздавили его, смешали с грязью. И увидел он — спиною, ставшей землей, затылком, выгибом золотого черепа, ставшим грязью и чернью, — кто же там, далеко, за ним идет, идет по земле его, по нему, землю прежнему, из безумия будущей тьмы.

* * *

Населить воздух всем, что еще живет. Призраками; видениями. Тени тоже живы. Они еще живы. Видишь, они ходят вокруг тебя скорбным хороводом. Ты еще двигаешься? Расскажи сам себе сказку. Стань сегодня немного лучше, чем прежде. Тебе лучше. Слышишь, лучше. И ему лучше.

А кто из нас — я и кто — ты?

Боль ушла. На время. Она потом опять придет.

Боль, слушай, нет, ты послушай меня. Ты хитрая. И ты живая. Пока ты есть, мы живем. Ты уходишь — вместе с тобой уходим и мы.

Нам — тебя — нельзя бросать. Без тебя мы никто.

Мы — это кто? Это я. И это он. Он — это я. Я это я. Значит, нельзя делить. И вычитать. Можно только складывать.

Матвей странно поводит руками в прозрачном, дымном воздухе; в гостиной будто курили и накурили густо, кудряво; сумерки вливались в комнату; у Матвея сейчас были жесты ребенка и глаза ребенка. Будто спал ребенок, а его разбудили. А он хочет назад, в дымный сон. Вдохни дым. Все дым. Тлен и пепел. Седая борода, а поверх бороды чисто глядит дитя, так я же и правда сошел с ума. Как ты можешь видеть самого себя, ведь перед тобой зеркала нет.

Я вижу не глазами. Не глазами. Я чем-то другим вижу.

Марк не двигался. Дышал. Матвей дышал вместе с ним, в его ритме. Они оба дышали одними легкими.

Я врач, и чудес не бывает!

Бывают, Матвейка, бывают.

Сидеть на маленькой скамеечке у дивана. Горбиться. Мять, жевать беззубыми пальцами край выцветшего гобелена с земляными, болотными кистями.

Вспомнить: Людочка приходила вчера, суп сварила, деловито спросила: елку-то будете наряжать или как?.. я вам приволоку, если что, тут дешевые елки возле катка продают, просто за копейки, а елки загляденье, куплю, принесу и наряжу, у меня игрушки сталинского времени, в железной коробке, так украшу, пальчики облизете. Марк ваш повеселится! Ему радость нужна.

Старинные тканые дамы танцевали вокруг неподвижно лежащего на диване Марка, а отец сидел возле дивана на детской скамеечке и дышал, дышал.

Он дышал за Марка.

Он стал Марком и дышал его грудью. Дышал — им.

Он боялся прекратить дышать. Дыхание

оборвется, и жизнь оборвется. Надо, чтобы жизнь плясала дамой в робронах на берегу черного пруда с золотыми рыбками, а может, близ смертного болота, и чтобы она — перед тем как ногу подломить и в болоте утонуть — улыбалась. Во весь рот.

Он еще дышал.

Ты еще дышишь?

Да, я еще дышу.

Это главное. Главнее всего в жизни. Единственное.

Дыхание, больными легкими, с кровью, с хрипами, с трудом, оно одно, что тебе остается.

Кроме дыхания, больше нет ничего в тебе. Больше нет тебя. Только: вдох-выдох, вдох-выдох.

Не слушай ушами. Не гляди глазами. Это уже все неважно. Чувства захлопнулись. Их стерли мокрой тряпкой. Замкнули на ключ, как шкапулку. Дед твой стоит за конторкой, это гроб, вставший на попа, и перо царапает желтую, грязную бумагу, скрежешет железно, скрипит ржавыми пружинами, хрип, стон. Перо стонет человеком. Это ты, хирург, пишешь историю болезни. Ты прооперировал целый народ, но ты не прооперировал сына. И сын умирает. Зачем ты спишь?

Дыхание. Дух. Душа. Проснись, душа. Проснись. Встань, что спишь?

Я вдуну в тебя душу свою.

Я — вдуну — в себя?

Я сам сворую у себя дух свой и втисну, воткну в тебя. Плевать на меня. Ты, ты — будешь жить.

А если я не буду жить, кто же будет, сынок, ухаживать за тобой?

Я украду у себя самого — жизнь свою. Она твоя будет. Возьми. Не побрезгуй.

Да ты слышишь ли меня?

У скольких людей я, врач, своровал смерть!

Я крал ее у них прямо из-под носа. Они уже ею завладевали, а я — подкрадывался и ловко вытягивал руку со скальпелем, и — бац! — набрасывался, и вцеплялся обеими руками в резиновых, в крови, перчатках, и рвал смерть на себя, уцеплял ее и тащил к себе, вырывал у них из рук, из грудных клеток, из-под ребер, у жадных дураков, эх, люди, до чего привязчивые вы, вы и смерть держите за золотишко, и готовы пок-

ласть в тайный мешок, и спрятать в погреб, в банковский ящик, лишь бы присвоить, не отдать! Любоваться ею! Ее голым черепом. А я воровал ее — у вас! И вы этим изумлены бывали. Поражались, сокрушались. Не верили! Оглядывались: где же она, моя смертушка? А и нету ее! Нет! Старик Матвейка украл! Стибрил и не охнул!

Я вырывал у них смерть, окровавленную... она трепыхалась... я швырял ее на белый кафельный пол операционной... и потом стаскивал красные скользкие перчатки... и выходил, шатаюсь... такой богатый... весь, с ног до головы смертью обвешанный... и мне операционные сестры подносили сигарету... я руками не брал... и так стоял и дымил... окурочек в углу рта... и курил, курил... и слезы по лицу... и отчего слезы?... оттого, что хорошо украл... ловко... с муками, с болью, с ужасом, с кровью... но выкрал у них, жадных, смерть... и себе под мышку сунул... под халат... а они, легкие, освобожденные, растерянные, проснутся после наркоза... оглядываться будут: а где же наша смерть?... ох, чёрт... украли у нас... а мы-то к ней как привыкли... холили ее, лелеяли... уж к ней притерпелись... и вот у нас ее нет... а кто своровал?... да здешний доктор... каков ловкач... циркач...

У них — воровал. У сына — не смог.

Это легкое его, то, гиблое, источенное. Все съеденное чужой невидимой жизнью. Человек живет, и микроб живет. Все — живут. Жить хотят.

Не вырезал. Не украл. Тебя другой опередил. Маленький, меньший, чем ты, крохотный. Настойчивый. Питается человеком. Человек питается зверем. А Бог? Какова пища Бога? Он — питается — нашими — душами?

Сердцами. Легкими. Воздухом нашим и кровью нашей. И болью.

Человек, подобие Божие. Зачем Он сделал нас похожими на Себя, но не бессмертными?

...а откуда мы знаем, что Он — бессмертен... может, и Он тоже... на койке, с подсунутой под спину клеенкой... под иглой... и ангелы в белом спуют... быстрее помочь, быстрей... нет... поздно...

...Стучали в дверь, тихо и настойчиво.

Матвей встал со скамеечки, разогнулся, зас-

тонал, поясницу крепко потер. Красный его халат распахнулся, обнажая худые, как корни сосны, ноги в штопаных домашних штанах.

Он побрел к двери и добрел до нее.

— Кто?

Детский голосок за дверью раздался:

— Откройте!

Ну, дитя, милостиво думал Матвей, небось, соседское, небось, понадобились кому сердечные капли, а может, луковица, а может, яйцо, а может, градусник, вот к доктору послали.

Загремел замком. Девочка стояла на пороге. Лет десяти. В отрепьях.

«А, нищенка. Побирается. Бедняжка, малышка. Надо что-то дать. Что?»

Огляделся беспомощно.

— Я... знаешь, сейчас кусочек тебе вынесу... Я — сыну приготовил... он у меня...

Не помнил, как это вырвалось.

— Умирает...

Девочка не переступала порог. Стояла перед дверью.

Матвей повернулся и пошел на кухню, шаркая тапками. Детский голос толкнул его в сгорбленную спину:

— Пустите меня к нему!

Он остановился. Обернулся.

— Это еще зачем?! Еще тебе не хватало...

Он хотел сказать: «видеть смерть», — а вышло будто: «еще тебя тут не хватало».

Но рука сама махнула: иди!

Нищенка переступила порог.

Она вошла, маленькая девочка, бедняжка, побирушка, и кто только ее прислал, а может, сама явилась, никто бы не разгадал ее появление, — вошла и безошибочно направилась в гостиную, где Марк лежал на старом скрипучем диване.

Когда девочка подошла к дивану, Марк разлепил веки.

Он открыл глаза.

Смотрел на диковинную девочку и медленно, страшно узнавал ее.

Радость залила его уродливое, отечное, синее лицо, лилась на подушку, на одеяло, на вытянутые вдоль тела руки.

Ты пришла... но как же...

Девочка молча улыбалась.

Но ты же ведь уже старая!

Девочка переступила с ноги на ногу, и Матвей с ужасом увидел — у нее босые ноги. Зимой!

Я забыл, как... тебя... зовут...

Марк вздохнул глубоко и тяжело.

Да я и не знал...

Девочка улыбалась.

Губы Марка шевельнулись. Он хотел сказать слово. И не мог. Щетина на верхней губе стала сизой, ледяной, будто на глазах покрылась инеем.

Ты что... молчишь?.. ты не молчи...

Матвей сходил на кухню и вернулся. В одной руке он держал кусок хлеба, в другой — кусок колбасы.

«Она ведь не собака, чтобы ее — так вот — кормить! Эх я, дурак...»

Марк бессильно закрыл глаза. Не мог глядеть. Девочка подошла ближе и села на пол у изголовья умирающего. Матвей все стоял с хлебом и колбасой в руках. Все произошло до обидного просто. Хорошо, что они тут были все втроем. Марк вытянулся на диване всем телом, коротко и страшно, как птица, крикнул: от боли? прощался? или увидел что, напугался, восхитился? — закинул голову, и Матвей увидел его торчащий кадык, и кровь хлынула у него горлом на подушку и простыню, слишком темная, черная кровь, и он ею захлебнулся, а потом враз весь Марк уменьшился, опал, будто его ножом проткнули и воздух из него весь вышел; ушел головою в подушки, ступни из-под одеяла странно, деревянно вывернулись и лопатами торчали, рука с дивана падала, к полу протянулась. Застыл.

Отец все держал в руках колбасу и хлеб.

Он не поверил.

Сын умер.

А он не верил.

Он не знал.

Не хотел знать.

* * *

Мир мигал и мерцал тысячью больных лиц. Они оставались за порогом. Матвей их не видел, только дрожал от их нежной близости. Марк лежал в крови, весь перепачканный кровью, будто невидимая гигантская женщина

тяжко рожала его, и вот родила, и он, рожденный, лежит в родильной крови, счастливый. Старый хирург, надо было безжалостным ножом вырезать, а жадными, в резиновых перчатках, дрожащими руками вырвать из внутренних органов, украсть навеки лишь одно: сердце, свое собственное, украсть его у себя и отдать хирургу другому, молодому, пусть неопытному, да горячему и смелому, — пусть бы он сыну его сердце пересадил! И вырезать легкие, и пересадить ему. О, нет! Нет! Не достигла еще медицина таких великих высот. Врач не Бог и никогда им не будет. Сыночек, от чего ты умер? Ты не мог своровать себе вечный воздух. Вечно дышать! Разве есть что вечное? Человек не перпетуум мобиле. Все уходят! Все уйдут! Сын ушел раньше отца. Зачем эта девочка здесь? Кто она такая?

Сидела у ног мертвеца, около старого дивана с обивкой из настоящего неба, живых деревьев и пухлых веселых облаков.

В комнате пахло солью и гарью. Как после взрыва.

Матвей протянул девочке хлеб и колбасу.

— Возьми!

Это прозвучало как: «убирайся отсюда».

Он так хотел сейчас остаться один.

Девочка взяла еду у Матвея из рук, на него не глядя.

Она глядела на Марка.

Мертвый сын лежал на ложе. Падал полог, тяжелый и вспыхивающий мелким жемчугом, расшитый искрами аметистовых сколов. Рвались и в рулоны скручивались старые, порванные кошками обои. За время умиранья сына у Матвея отросла белая борода. Она важно струилась на грудь, обернутую красной тканью. Матвей, живой флаг, и древко скелета еще обхвачено честью и славой. Красный халат, кровь всех больных! Сколько он разрешил людей, а сколько заново сшил! Ему кланялись в пояс, благодарили за жизнь. Он смущался: не надо благодарности, это моя работа. Работа, вот в чем все дело! Важно хорошо работать, тщательно, крепко. Каждое утро благодарить Бога: спасибо, Бог, что послал мне этот день, еще один день жизни, — и натягивать резиновые скользкие перчатки, и вставать к стерильному операционному столу.

Старый отец, ты еще жив. Жив ты еще, курилка! Почему ты в операционной и без маски? Потому что я задыхаюсь. Мне больно дышать. Я знаю, будет война. Мы от нее никуда не спрячемся. Раньше, позже — неважно. Я буду оперировать сотни, тысячи людей. Они будут кричать: от ожогов, от рваных ран, от дикой, острейшей боли, и будут глядеть на меня как на Бога: спаси! излечи! избавь! сохрани! Избавить тебя от боли, дружок? Но ведь жизнь это боль. Вынуть, вырезать из тебя боль? Но ведь любовь это боль. Все самое живое это боль! Даже радость. На вершинах радость и боль сходятся. Их нельзя различить.

Мертвый сын лежал спокойно. Ступни чуть вывернуты наружу. Так надо. Так уходит человек, по невидимым облакам ставя кривые ноги. Старый отец стоял рядом, бессильно разведя дрожащие руки. Седая борода мерцала. Из-под дивана высовывалось судно. Девочка сидела в ногах мертвого человека, простыня, измазанная кровью, отогнулась, и яснее, веселее проступил узор вытертого гобелена — лодки, лилии, смеющиеся лица давно мертвых людей. Они скелеты! Плоть не значит ничего. Остается лишь то, что ты сам сделал, сработал.

А что делал я всю жизнь, спросил себя Матвей, что же делал я?

Родил шестерых детей. Любил женщину. Все умерли. Все. Никого нет!

И вдруг тысяча лиц, тысяча ног, что с шорохом топтались, смущенно мялись у порога, начали стекаться и влетать в комнату, растекаться по соленому воздуху, пачкать руки и губы кровью его сына, падать перед ним на колени, приникать щеками к его мертвым рукам и ногам, да и ему, Матвею, в ноги валиться, и обнимать его ноги, и закидывать лица, полные обожания и любви, и слышал он тысячи голосов: спасибо! спасибо! великий врач, спаситель наш, спасибо! Ты оживил! Ты воскресил! Ты вытащил из ямы, а мы-то думали, надежды нет! Ты — заново — нам — наших любимых — родил!

Ваших... любимых?

Он не мог думать. И говорить.

Да, да! Наших родных! Нашу, нашу любовь!

Ты родил нам — нашу любовь! Как же мы можем тебя не любить?

Он оглядывался в изумлении, в полнейшей

растерянности. Как это, он родил? Спасал? Да он просто делал свою работу! То, чему его учили! А его учили, разрезая и причиняя боль, лечить больного человека! А он, он так всю жизнь хотел быть вором... вором... веселым таким вором, разбитным, всемогущим... владыкой вещей, сердцеедом, скитальцем... и презирать осторожность, и ненавидеть правила и лекарства... знать только ветер... и волю...

Нежно, взошедшей в ранней ночи Луной, сиял у него на голове огромный, неряшливо наверхенный тюрбан. Кухонное полотенце? Дамасский атлас? Тускло, тихо светились нашитые на бело-желтый ветхий шелк камни: перепелиные яйца яшмы, густо-красные турмалины, россыпи детского жемчуга. Надо лбом Матвея, крепко пришитый к тюрбану, пылал грозный рубин в виде большой звезды. Матвей робко поднял руку и пощупал камень. Он холодом прожег ладони старика. Истрепанный, обветшалый царский плащ струился с плеч; Матвей всю жизнь считал его старым халатом. Хватался за полы, за воротник. Укутывал плечи. Ткань все равно вырывалась из рук, текла на пол, шерстяной дырявой кровью заливала давно не крашенные доски. Носки старых домашних туфель высовывались из-под красной полы плаща: когда-то туфли его покойница жена, смеясь, расшила мелкими перлами, добытыми ребятней из речных ракушек, и привезенной с Урала изумрудной крошкой. Зеленые осколки подарил покойной жене сосед Илья Ильич, покойник. Он перед новым годом тихо к ним в дверь постучался и, стоя на пороге, молча протянул жене круглую жестяную коробку из-под монпансье. Встряхнул коробку. Она зазвенела. Илья Ильич улыбнулся, поклонился, торжественно вручил коробку и ушел, сгибаясь надобие рыночного мясного крюка.

Красная ткань еле тлела. Камни мерцали, гнилые нитки рвались, яшма со стуком падала на пол, швы разлезались. Одежда сползала с Матвея, тюрбан валился набок. Руки его, сухие и ветхие, опять напялили на плечи красный флаг, водрузили на лоб шелковую башню с красной прозрачной звездой. Зачем на него надели все эти тряпки? Кто он теперь такой? Разве в тряпках все дело? Под ними — ребра, плечи, лопатки, плоские мышцы груди, живот

и поясница, и что такое живое тело, если его, всякое, каждое, все равно в землю кладут? Земля жадно разевает черный рот. Она живая, и она хочет есть.

Тюрбан все-таки свалился с его лысины, он напрасно ловил его, атласную птицу. Матвей стоял гололобый, крепко жмурился, слезы все равно медленно вытекали из-под стиснутых век. Невидимые люди обступали его плотной стеной. Ему тепло было от них. Еле слышный их шепот обнимал и прощал, и славил его. Красный плащ никак не превращался в белый халат. Люди мерцали во тьме, наплывали роем прозрачных бабочек из клубящейся тьмы, шептали и кричали ему слова восторга и любви, и Матвей, плача от горя и от поздней радости, стоя в призрачной великой толпе, среди небесной, облачной бездны народа, среди дымом курящихся людей, потихоньку становился одним из них; и он не знал, кого ему за жизнь свою благодарить. Придет день, и он станет мертвым жуком, растопырит костяные лапы, сложит навек хитиновые надкрылья, и мастер-ювелир, придирчиво прищурясь, сделает из него роскошную брошь. У земли в шкатулке тоже должны храниться сокровища.

Мертвый сын лежал в крови, погасший. Закончилась брань. Старый отец в сумерках тихо светил дряхлым телом и алым плащом, старый нечищенный, тусклый светильник. Сам себе удивлялся, стоял, смущенный незримой, неслышимой общей любовью. Зачем ему эта награда? Он сам скоро вслед за сыном пойдет. Нищенка сидела в ногах у покойника и ела хлеб и колбасу. Ее не смущало присутствие смерти.

* * *

И тут весь огромный старый дом, внутри которого тайно торчала, черным сохлым изюмом в каменной булке, старая квартира старого врача Матвея Филиппыча, вдруг просветился насквозь, мощные лучи пронзили его и высветили все его дальние закоулки, и людей высветили в кельях их, в жалких, чистых и грязных комнатах их; и стало хорошо видно, что не во всех комнатах люди жили, — в иных и умирали.

Весь огромный старый дом, тяжело дышащий старыми легкими дымоходов, сверкающий стеклянными бусами окон на старой груди, внезапно оказался хосписом — ну да, просто нищим простым, суровым хосписом, последней человечьей лечебницей, домом, где за тобой молча, то улыбаясь, то плача, то заботливо, то сердито, брезгливые губы поджав, терпеливо ухаживают, чтобы тебе было не так страшно умирать.

Вот он, дом этот, настоящий хоспис, и тут уже ничего не поделаешь — да, за какой-то дверью, правильно, любовь и страсть, и внезапные острые роды, и праздники, могучее заливчатское застолье поет и пляшет, и люди смачно целуются, и выпивают рюмочку, и обнимаются, и бьют посуду, и клянутся, и божатся, и обижают друг друга, и просят друг у друга прощения, — все что угодно горит и тлеет за любой дверью, но за сотней скорбных дверей стоишь, Возлюбленный, Ты! Потому что Ты, Любимый, легкой стопою Своею бесстрашно, беспечально ступаешь вослед смерти человеческой; Ты Сам ее прошел, Ты хорошо, на вкус и на ощупь, на запах и на боль знаешь ее; и Ты молча, улыбаясь, встаешь возле изголовий умирающих Своих и в ногах их, чтобы поймать их последний вдох и утишить, погладить и успокоить их последнюю судорогу. Последний боли крик! Да, Ты слышишь его. Родные затыкают уши и мешками валяются на пол возле кровати: наша кровинка больше не может так мучиться, и мы больше не можем, мы все сойдем от ужаса с ума, помилуй всех нас, скорей возьми его к Себе, Упованный! Плохо молить о чужой смерти? О родной? Нечестиво, жестоко? За всякой такую дверью — уходят во тьму люди, поодиночке или вереницами, а война начнется — толпами во мрак пойдут, взводами и ротами; и Ты, Светлоликий, Ты лучшая сиделка у них в хосписе их; лучший доктор, с дарами в руках, да что угодно держи, хоть хлеб и колбасу, хоть скальпель и марлю, хоть селедку в промасленной бумаге, а вместо вина можешь водки паленой зеленую бутылку под мышкой весело нести, а вместо креста, чтобы к чужим губам поднести, возьми и живые пальцы над лицом его дерзко скрести: возьми с собою кудрявого, тощего и смуглого ангела в подмогу, он подер-

жит, подаст уходящему последнее причастие Твое, из кружки последней, к чужим устам, ледяную, пьяную воду Твою.

Твой последний Завет, Единственный, каждый умирающий кровью своею — пишет! Корявые те письма не всякий живой хочет читать. Зачем нам всем помышлять о страдании, когда наслажденье ждет? Рядом! За углом! Пить и есть, обниматься-любить, бродить по широкому миру, как по площади широкой! На своем языке кричать и шептать, на чужом — да это ж все равно! Лишь бы — рот живой! И зубы живые в улыбке! И глаза живые блестят! И не дай Бог нам, каждому, умереть в муках! Но ведь никто не знает часа своего, и никто не знает также Богом сужденной, последней и страшной муки своей!

Мир, о Всепрощающий, догадаться можно было давно, одна огромная больница, где больные только притворяются здоровыми, чтобы не остаться здесь навек, чтобы живо разрешили, ловко зашили и быстро выписали, и кричали вослед: никогда больше сюда не попадаться!.. живи, только живи!.. а все равно все сюда возвращаются, и мир, Боже Ты мой, ведь это один гигантский хоспис, где живые люди только и делают, что умирают, но в смерти обнимает их Твоя невидимая, неслышимая любовь, над ней же смеются и глумятся, ее же топчут, язык ей кажут, издеваются над ней почему зря и вновь и вновь бичуют ее, полосуют — ремнями, прутьями, плетями, а она все равно есть, она — неубиваема, ничем-ником не истребима, и над их изголовьем, над потными, в слезах и крови, последними простынями их сплетает руки любящий их.

Перед концом многие испуганно, торопливо крестят некрещеных, даже если не веруют в Тебя и отрицают Тебя, все равно, ради спокойствия души своей, желая соблюсти обычаи предков, так Ты, Неизреченный, прошу Тебя, обратись в приглашенного на дом священника: ну что Тебе, Вездесущему, стоит прийти сегодня в нищий закут, в эту забытую камору, где на кровати лежит, стонет и мечется человек? И Тебя нынче позвали сюда; и стоишь Ты, седой бедный батюшка с белой жиденькой бороденкой, и смотришься в старого доктора, как в старое зеркало, так вы смертельно похожи: и бородки, козлино дрожащие, и чуть навывате

подслеповатые глаза, и плывущие руки, у одного привыкли крестить и мазать елеем, у другого — резать и зашивать, под резкие военные команды: иглу! зажим! кетгут! — и Тебя просят: хоть и есть крестик на груди у больного, а Ты сейчас отважься, плюнь на все прошлое, помоги, окрести! Пусть второй раз, а какая разница! Святое — не повредит! Заново валяй! Вперед и с песней! Есть ли у Тебя купель? Если нет, я с кухни — кастрюлю принесу!

Старый медный таз для варки варенья!

...черные восточные кошки ходили кругами: они танцевали.

А девочка, коричневая, худенькая, смуглая, пустынная, бродячая, шепчет невнятно и печально: а свечи будете зажигать? а вином — из ложечки золотой — угощать? Почему, Бог, Ты умер и Тебе за это — все поклоняются? Нет, не все! Не все!

И старик батюшка смущается, низко опускает седую кудлатую голову, молчит.

Молчишь Ты, Солнце! Иногда приходится и Тебе помолчать. И молчание Твое — золото Твое.

И все равно крестишь Ты любовью Своею и прощением Своим людей Своих; и пусть иной народ, не верящий в Тебя, опять, скаля веселые зубы, в голос, нагло смеется над Тобой, Ты-то знаешь: все, все, и кто смеется, и кто плачет, все окажутся под конец жизни своей в хосписе Твоем.

Дом, живой хоспис, стоял в ночи, насквозь просвеченный людской любовью, а Матвей не на мертвого сына смотрел: он смотрел на маленькую нищенку, как она поела ей протянутую еду. Съела. Облизала ладонь свою, как зверек. Встала с пола. Раскинула руки. Затанцевала. Закружилась на одной ножке. Мелькали в воздухе одежды. Резко остановилась. Мертво и недвижно, не шелохнувшись, застыла. Вместо девочки посреди гостиной стояла наряженная елка. Горела и переливалась всеми шарами, свечками, бусами, шишками и орехами. На верхушке елки пылала красная звезда. Матвей зажмурился. Так, слепой, медленно, на ощупь, подошел к постели.

К сыну.

— Сынок, вставай... Сегодня праздник... Елка... Новый год...

Мальчик сладко спит. Он сейчас встанет. Мать приготовила на кухне новогодний сладкий пирог, брусничный, как сынок любит, он же так мечтал о пироге с брусникой; напекла румяных смешных беляшей, уже в салатницах дремлют карнавальный пестрый оливье и строгая, от свеклы лиловая, как монахиня в рясе, селедка под шубой, а в белой царской миске стынет чудесный холодец. И в розетке рядом — снеговая горка хрена. И — вот икра, дорого куплена на рынке у астраханских бойких теток с калмыцким разрезом глаз, тайно, из-под полы, черная, смоляная, зернистая, целая трехлитровая банка, царское богатство, ну, такой знаменитый на весь город врач, как Матвей Филиппыч, может позволить себе к праздничному столу такую роскошь.

За спиной Матвея, внутри медленно шевелящейся тьмы, стояла, тихо мерцающая, всплескивая, как тонкими руками, пучками яркого цветного света, праздничная елка, прекраснее не было на свете.

...Елка, целый мир, нарядный, темный, грязный, колкий, остро, больно, ярко, ясно, драгоценный свет, зелено-синяя колючая земля, крутится, солью плачет, кровью горит, ветки и штыки топырит, а Марк собою ее, душистую, смоляную, кровавую, огненную, обкрутил, обмотал живым серпантинном, телом своим закрывал, стеклянные моря ее переплывал, ми-

шуру ее, голодая, глодал, лился по ней вдоль и поперек серебряным, золотым дождем. Всю ее обхватил. Облапил. За одно это, что мир еловый, мрачный он собою, дерзким, обнял, дерзко полюбил и присвоил, в торбу сердца весело засунул, ему все грехи простятся. Кем? Да им. Им самим. Матвеем, как тебя по отчеству, доктор? Эй, Матвей, а тебя Матвей зовут? Может, иначе?

...Отец тормозил сына за плечо.

Кровавая простыня комом легла под твердую кеглю детского колена.

— Ну же, ну! Марк! Засоня! Хватит спать! Пора вставать!

Он знал, где на стене висит отрывной календарь.

Протянул слепую дрожащую руку, скрюченными сухими пальцами нашел старый желтый листок, оторвал.

Смял в кулаке.

Он своровал время. Все-таки своровал.

Ему удалось.

□

Елена Николаевна КРЮКОВА

родилась в Самаре.

*Окончила Московскую государственную консерваторию
и Литературный институт им. Горького.*

Поэт, прозаик.

Автор десятков книг.

Лауреат премии им. М. И. Цветаевой (2010),

Кубка мира по русской поэзии (2012, Латвия),

Международного славянского форума «Золотой Витязь» (2014, 2016).

Лауреат Международных литературных премий им. И. А. Гончарова (2015),

им. А. И. Куприна (2016), им. Э. Хемингуэя (Канада, 2017),

Международной Южно-Уральской литературной премии (2017).

Член Союза писателей России.

Живет в Нижнем Новгороде.

